

ВРЕМЯ НЕ ЛЕТИТ. ОНО ТОЛЬКО ЗАБИРАЕТ.

ПОСЛЕДНИЕ — ИЗ — БЕССМЕРТНЫХ

КНИГА ВТОРАЯ

ЗЕМЛИ ЭЛААРА

ARDEN VALE

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

Arden Vale

**ПОСЛЕДНИЕ ИЗ
БЕССМЕРТНЫХ.
Книга 2. Земли Элаара**

«Автор»

2026

Vale A.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ БЕССМЕРТНЫХ. Книга 2. Земли Элаара /
A. Vale — «Автор», 2026

«Можно ли узнать правду о себе — и не потерять себя в ней?» После событий первой книги Арен Вейр вместе с Марексом и Лиарой отправляется на восток — в земли, которых нет на привычных картах. За ними охотятся Орден Пепла и Наследующие. Но настоящая опасность может скрываться совсем рядом — в прошлом самого Арена. В забытых землях его ждут тайна рода, исчезнувшего триста лет назад, древний механизм и дверь, которую когда-то кормили людьми. А голос из прошлого знает имя мальчика, сумевшего задать этой двери единственный правильный вопрос. Чем ближе Арен подходит к разгадке своего происхождения, тем яснее становится: пробуждение, изменившее его жизнь, было только началом.

© Vale A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Дорога на восток	5
Глава 2. За старой границей	15
Глава 3. Хранитель дорог	21
Глава 4. Город у каменной реки	32
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Arden Vale

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ БЕССМЕРТНЫХ.

Книга 2. Земли Элаара

Глава 1. Дорога на восток

Утро пятого дня после Эйрена встретило их туманом — не тем густым, стелющимся по земле туманом, что бывает в низинах, а лёгким, рваным, цепляющимся за склоны холмов отдельными белыми лентами, будто кто-то ночью разорвал облако на куски и разбросал их по дороге. Солнце ещё не поднялось, но небо на востоке уже посветлело, приобретя тот особенный, безрадостный оттенок мокрого свинца, который Арен за эти дни научился узнавать так же верно, как прежде узнавал по звуку, какая передача в механизме сбоит. Он шёл по правому краю дороги — туда, где грунт был твёрже и где следы их сапог не так заметны для глаз, идущих позади, — и чувствовал, как внутри него, где-то под рёбрами, жила новая тяжесть, появившаяся в ту ночь на склоне над Эйреном и никуда не ушедшая с тех пор.

Не боль. Боль была понятной вещью: у неё было место, причина, границы. Тонкая тёмная полоса на плече — след чёрного железа — уже почти не ныла, кожа вокруг неё затянулась ровно и гладко, слишком гладко, как бывает гладко застывший воск, и от этого гладкого места тянулась не чувствительность, а наоборот — глухая, бесчувственная пелена, сантиметра два шириной. Марек говорил, что у Вечных раны от чёрного железа заживают неделями и месяцами. У Арена она затянулась за пять дней и оставила после себя это странное мёртвое пятно, будто кто-то вложил в его плечо кусочек чужого тела и тело смирилось.

Новая тяжесть была другой. Она приходила в те минуты, когда он поднимался слишком быстро, или когда наклонялся над водой, — и тогда мир на мгновение наклонялся вместе с ним, темнел по краям, и приходилось стоять, уперев руки в колени, пока земля не встанет обратно на место. Один раз такое случилось вчера, у ручья, и Марек успел подхватить его за локоть раньше, чем Арен успел упасть, — подхватил молча, взглядом, а не словами, и Арена в тот момент стало стыдно и страшно одновременно: стыдно, что тело предало его на виду, и страшно, что отец не удивился. Потому что отец знал, откуда это. Потому что система сама сказала им обоим, ещё там, над Эйреном, когда свет погас и они сидели в темноте, слушая, как далеко внизу шумит город: каждое пробуждение оставляет след в носителе. Не метафору. След. Арен тогда спросил, что это значит, и голос — тот ровный, не человеческий голос, складывающийся внутри черепа, а не в воздухе, — ответил не словами, а ощущением: как будто дверь, которую он только что открыл, захлопнулась ему по пяткам, и щель этой двери навсегда осталась в нём самом.

Он не рассказывал об этом Мареку во всех подробностях. Только о головокружении. Остальное — странное, тихое ощущение, будто внутри, где-то за грудиной, лежит теперь ещё один предмет, который он не клал туда и который невозможно достать, — остальное он пока держал при себе, как держат ещё не созревшую мысль. Не из недоверия. Из какого-то нового, непривычного инстинкта, который появился у него вместе с той ночью: инстинкта прятать самое важное даже от человека, которому доверяешь больше всех на свете. Это пугало его сильнее головокружения.

Пластина лежала за пазухой у отца, завёрнутая в промасленную ткань, и молчала. Она молчала уже пять дней, с тех пор как они покинули Эйрен ночью, спускаясь по тропе вдоль ручья, пока огни шахт не растворились в тумане позади, — молчала так ровно и полно, будто та страшная, невыносимая ясность, что вылилась из неё на склоне, измотала её саму. Или

измотала что-то в нём, через что она говорила. Арену иногда казалось, что он чувствует эту тишину — не ушами и не кожей, а тем самым новым чувством, что жило теперь за грудиной: тишину пластины было похоже на задержанное дыхание, на человека, который сказал слишком много и теперь ждёт, что с этим делать будешь ты. Он ни разу не просил у отца её посмотреть. Марек ни разу не предлагал. Они шли, и между ними, невидимая, нерушимая, лежала эта третья вещь — тёмная, тёплая от тела отца, молчаливая, — и Арен поймал себя на том, что разговаривает с ней внутри себя, как разговаривают с человеком, которого боишься разбудить.

— Вода здесь горьче, чем вчера, — сказал Марек, не оборачиваясь. Он шёл впереди, как всегда, чуть сгорбив плечи, с привычкой человека, который три недели назад вышел из дома и не вернулся, — и в этой сгорбленности, в этой экономии каждого движения было что-то новое, чего Арен не замечал в отце прежде, дома, в мастерской. Дома Марек двигался как механик: точно, экономно, но без этой вечной готовности. Теперь же он даже во сне, сидя у костра с подложенными под голову седельной сумкой, спал как человек, привыкший просыпаться от звука шагов. Арену было тяжело смотреть на это и невозможно не смотреть.

— Горная, — ответил он. — Талый снег. Она всегда горьче.

— Я знаю, почему она горьче. Я имел в виду, что завтра её будет негде взять. Смотри вперёд.

Арен посмотрел. Дорога, вся в выбоинах и полусмытых колеях, спускалась с хребта, пересекала широкую песчаную отмель, где ручей расплзался в блестящую под солнцем лужу, и терялась за поворотом, где низкие холмы смыкались, образуя ворота из земли и редкого камня. За этими воротами — карт, на которых обозначался этот край, Арен никогда не видел, — начиналось то, о чём говорили в Эйрене шёпотом и только после третьей кружки: старые земли. Земли, которые не принадлежали ни одному Совету, ни одному князю, которые не значились ни в одной налоговой книге, но по которым, по слухам, всё ещё ходили дороги, построенные до того, как люди научились ковать чёрное железо.

— За поворотом нас ждут либо пастухи, либо никто, — сказал Марек. — Пастухи лучше. У пастухов бывает кукуруза и лёд в яме.

— А если не пастухи?

— Тогда у нас есть серебро Тобена, и ты наконец перестанешь считать каждую монету вслух. Это тоже хорошо.

Арен фыркнул. Считать вслух он перестал третьего дня — после того как Марек сухо заметил, что монеты от этого не прибавляются. Но считал он про себя. Серебро старого кузнеца таяло с пугающей быстротой: за еду в двух придорожных селениях, за ночлег в сеновалах, за то, что пахло уже не спасением, а просто отсрочкой. Тобен отдал им почти всё, что берёт на чёрный день, — и Арен помнил, как монеты легли на ладонь отца в той задней комнате мастерской, помнил глухой звон свёртка и то, как Марек сжал плечо старика, не говоря ни слова. Некоторые долги измеряются не серебром. Но серебром, к сожалению, расплачиваются в трактирах.

Он обернулся. Лиара шла сзади, на расстоянии десяти шагов, — не потому что отставала, а потому что так решила сама, ещё в первый день, сказав коротко: «Я привыкла идти сзади. Кто идёт сзади, видит то, что не видит впереди». С тех пор она держалась позади, и Арену пришлось привыкнуть к этой вечной теплой точке между лопатками — знанию, что где-то там, в пределах слышимости, идёт человек с чёрным мечом, который один раз уже спас ему жизнь и который, по всем законам мира, должен был бы желать ей смерти. Утренний свет лежал на ней косо. Тёмный плащ, короткая куртка, лук за плечом — всё то же самое, только теперь на плече, там, где прежде серым нитками был нашит круг из пепла, — знак Ордена, — остался тёмный прямоугольник поношенной ткани, чуть светлее окружающей. Она срезала знак ножом в их первый вечер в дороге. Молча, уверенным движением, как срезают мозоль или гнилую нитку. Арен видел, как она потом долго держала этот серый кусок ткани в ладони, не зная,

куда его деть, — и в конце концов убрала во внутренний карман, а не бросила в костёр. Карман он запомнил. Не костёр.

Она заметила его взгляд — она всегда замечала, и он так и не привык к этому, — и подняла подбородок: вперёд, мол, смотри. Арен повернулся обратно к дороге и тут же споткнулся о камень, который лежал на виду, — мир качнулся, темнота подступила к краям зрения, и он остановился, дожидаясь, пока всё встанет на место. Два удара сердца. Три. Норма.

— Хорошо смотрю, — пробормотал он себе под нос.

— Ты говорил, что не разговариваешь сам с собой, — донёсся сзади голос Лиары. Она подошла ближе, не выходя при этом из привычного положения — по диагонали, слева, откуда видно и его, и дорогу впереди. Профессиональная привычка, о которой она, наверное, даже не думала.

— Я и не разговаривал. Это была реплика вслух.

— Это и есть разговор сам с собой.

— Тогда ты его только что услышала. Значит, это уже разговор с тобой.

В уголках её губ дрогнуло то, что в другой жизни, нормальной жизни, могло бы стать улыбкой. Она посмотрела на него внимательно — тем долгим взглядом, каким она ходила и читала следы, — и Арен понял, что она видит всё: и свежую бледность после очередного головокружения, и то, как он сжимает левую руку, когда идёт, подстраивая походку под ту самую глухую полосу в плече.

— Сегодня утром — раз, — сказала она тихо. Не вопрос.

— Второй, — ответил он честно. Ей он не врал. С этим было связано что-то странное: перед отцом он прятал слабость, а перед Лиарой — нет. Может быть, потому что отец прятал правду за молчанием, и ему хотелось, по крайней мере, не добавлять к отцовской ношке своей. А перед Лиарой прятаться не имело смысла: она всё равно видела. Она была охотником. Она всю жизнь училась видеть то, что прячут.

— Надо сказать Мареку, — сказала она.

— Не надо. Он и так каждое утро смотрит на меня так, будто я — механизм с треснувшей осью.

— Ты и есть механизм с треснувшей осью. Просто треснувшая ось — это не приговор, если вовремя не грузить её сверх меры.

Он хотел возразить, что грузить её приходится не он, а кто-то другой, — судьба, кровь, древний голос, называй как хочешь, — но не успел: Марек, шедший впереди метрах в тридцати, поднял руку. Жест был коротким, отработанным, — и тело Арена отреагировало раньше разума: колени чуть согнулись, рука легла на перевязь сумки, всё внутри стало тихим и собранным. За три недели бегства это движение успело вратись в него так же глубоко, как когда-то в детстве вращалось умение держать напильник.

— Дым, — сказал Марек, когда они подошли. — Одиночный. Костёр, не печь. Час с этой стороны холма.

Лиара обошла его по склону, присела, посмотрела на воду в старом колее, потрогала землю.

— Двоеколка проехала с рассвета, — сказала она. — Тяжёлая. Колёса смазаны — слышно по брызгам на осоке, маслянистые следы. Значит, не бедняки.

— Купцы, — сказал Марек. — Или те, кто хочет, чтобы их приняли за купцов.

— Зачем хотеть такого? — спросил Арен.

Марек посмотрел на него со сдержанной укоризной, которую Арен с детства знал лучше любых слов: сын, подумай сам.

— Чтобы их не трогали, — ответил он сам себе. — Бедняков грабят. Купцов — уважают. Или боятся.

— Или караулят до места, где уважение кончается, — добавила Лиара, выпрямляясь. — Я пойду первой. Если это костёр отдыхающих — я просто женщина с луком на дороге. Если нет — вы услышите.

— А если нет, но мы не услышим? — спросил Арен, и это вырвалось прежде, чем он успел одёрнуть себя. Лиара посмотрела на него поверх плеча, и в её взгляде не было обиды — только чуть заметное уважение к тому, что он наконец сказал вслух то, о чём все трое думали.

— Тогда вы побежите не на костёр, — сказала она. — А от него. И не оглядывайтесь.

* * *

Костёр оказался принадлежать старику, женщине и телеге, нагруженной дынями. То, что с расстояния казалось загадочным дымом, на месте обернулось самым будничным зрелищем: семейство крестьян, переживающее жару до полудня, потому что лошадь, как объяснил старик, «стареет быстрее, чем накапливается злость на старость». Дыни он продавал им за бесценок — летняя дорожная торговля в этих краях только начиналась, а до первого большого селения было ещё два дня, и первым покупателям старик, по обычаю, отпускал товар с убытком «для удачи». Арен откусил жёлтую сладкую мякоть и почувствовал, как во рту оживает вкус, который он почти забыл за три недели: вкус нормальной, не дорожной жизни.

— Так вы на восток, — сказал старик, чавкая рядом. Женщина — его дочь, судя по одному и тому же выражению усталости на обоих лицах, — молча поправляла упряжь, но уши её, заметил Арен, были направлены к разговору. — На восток сейчас многие идут. И все одни и те же вопросы задают.

— Какие вопросы? — спросил Марек. Голос у него был ровный, будничный — голос механика, интересующегося дорожными новостями. Арен научился уже слышать, как за этой будничностью отец взвешивает каждое слово собеседника.

— Про огни, — сказал старик. — Вы в Эйрене были, я вижу по сапогам — там одна глина, красная, нигде больше не бывает. Так вот, оттуда — от Эйрена — восточнее, уже недели две, как по ночам над горами огни видны. Не костры. Не деревня. Высоко, на самом хребте, где, по слухам, ничего нет, кроме камня да старой развалины. А огни — как будто кто-то город зажёг, город маленький, на весь холм. Пастухи говорят. Пастухи — они врут по праздникам, это верно, но сейчас праздника нет, а говорят всё равно.

— Что говорит Орден? — спросила Лиара. Она сидела чуть в стороне, спиной к телеге, — поза отдыхающего человека, которому всё равно, о чём говорят. Только Арен видел, как напряглась её спина при собственном вопросе. Орден. Она произнесла это слово так, как произносят имя бывшего дома: быстро, ровно, не глядя на слушателей.

— Орден молчит, — сказала дочь старика — первый раз за всё время. Голос у неё был сухой и недовольный. — Монахи проезжали через наш край неделю назад, спрашивали про чужаков. Огней не видели, не слышали, не бывало. А сами спрашивали, не замечали ли мы на дорогах механика с раненой рукой. — Она пожала плечами. — Всё руки, всё руки. У нас полдеревни ожогами покрыто, печи у людей, а им — механик нужен.

Арен жевал медленно, не глядя ни на кого. Механик с раненой рукой. Неделю назад — значит, ещё когда они были в Эйрене или только выбрались из него. Значит, Орден не просто следовал за ними по горячему следу — он расстилал перед ними сеть опережая. Марек слушал с непроницаемым лицом, но Арен видел, как палец отца, лежавший на колене, медленно постукал два раза — старая привычка, привычка человека, который считает не монеты, а шаги до беды.

— И что, много народу на восток из-за этих огней идёт? — спросил Марек.

— Да всякие, — махнул рукой старик. — Паломники есть, верят, что это знамение с неба. Смелчаки — думают, там клад. Ещё есть такие, про которых молчат, когда они проезжают: нарядные, на хороших конях, всё по-доброму, всё вежливо, а остановишься рядом с ними у воды — и хочется уйти побыстрее, сам не поймёшь, зачем. — Он почесал затылок и вдруг

понижил голос, хотя вокруг не было никого, кроме собственной телеги. — Ещё говорят — одна бабка у нас в селе старая есть, она вроде как эту землю помнит со старых времён, так вот она говорит: огни — это не новые горят. Это старые проснулись. А когда старые просыпаются, говорит, лучше не ходить смотреть. Потому что смотрят вместе с тобой.

Последние слова повисли над костром. Дочь старика фыркнула и пошла к лошади — грубовато, отрезвляюще, как стряхивают с себя сон. Арен дожевал дыню и понял, что у него нет слюны: горло пересохло. Не от страха даже — от узнавания. Старые проснулись. Он думал о свете, что разлился над Эйреном в ту ночь, когда система последний раз говорила с ним; думал о том, как пластина за спиной отца тиха, как задержанное дыхание.

— За дыни спасибо, — сказал Марек, поднимаясь. Он положил на край телеги монету — больше, чем стоили дыни, — и старик не спорил, только кивнул, и в этом кивке тоже было больше, чем простое «спасибо». Люди в этих краях начинали понимать, что делается что-то необычное. Люди всегда начинают это понимать раньше тех, кто это делает.

* * *

К вечеру того же дня они увидели всадника.

Он стоял не на дороге, а в стороне от неё, на пригорке над старой сторожевой стеной — руины каких-то давних укреплений тянулись здесь обломанной линией по обоим склонам, и ворот давно не было, но место сохранило привычку быть проходом. Всадник сидел на коне неподвижно, лицом к западу, к ним. Серого плаща на нём не было. Плащ был тёмно-коричневый, дорожный, потёртый; конь — невысокий, крепкий, той породы, каких держат в горах, не в роскоши. Человек не двигался, и конь не двигался, и на какое-то мгновение Арену показалось, что это не всадник, а стоящий камень, который вечерами принимает такую форму, чтобы разглядывать дорогу.

— Он же нас ждёт, — сказал Арен тихо. У него пересохло горло, и слова вышли скрипучими.

— Двое суток, — сказала Лиара. Она стояла рядом с ними уже, беззвучно, как всегда. — Он держится от нас на расстоянии дня ходьбы. Ближе не подходит. Дальше не уходит. Я видела его след сегодня утром, в том месте, где мы ночевали позавчера, — и ещё вчера, у ручья. Он не торопит лошадь. Он просто. .. идёт туда же.

— Может, он и есть тот, кого мы должны бояться, — сказал Арен.

— Может, — согласилась она. — А может, тот, кто хочет, чтобы мы его боялись, — этот бы не ждал на виду. Страх не любит света и открытых дорог. Этот — ждёт на открытой дороге, при дневном свете, не прячась. Это либо глупец, либо человек, у которого есть причина быть уверенным.

Марек долго молчал, глядя на пригорок. Потом сказал то, что Арен боялся услышать:

— Это тот самый. С тракта. Тот, что был впереди нас, когда мы выходили из Эйрена.

— Ты уверен? Мы его почти не видели.

— Я уверен. — Марек не объяснил, откуда уверенность, и Арен не стал спрашивать. За три недели он научился: отец говорит меньше, чем знает, но когда говорит — это не догадки. — Он не нападал. Не подсылал других. Два дня — удобная дистанция: близко, чтобы не потерять, далеко, чтобы не угрожать. Он не охотится. Он. .. сопровождает.

Слово повисло в вечернем воздухе, и Арен вспомнил подземный зал под Эйреном, четверых людей с плоскими каблуками и их спокойное, вежливое «нам приказано сопровождать его. Домой». Мир, оказывается, подарил ему уже второе слово для одного и того же чувства — того, что происходит с человеком, которого везут туда, куда он не выбирал идти.

— Пойдём к нему? — спросил он.

— Нет, — сказала Лиара и Марек одновременно, и в этом несогласованном единстве Арен вдруг услышал, как сильно оба они изменились за эти дни: два человека, один из которых должен был убить другого, а второй — ненавидеть первого, теперь отвечали одним голосом.

— Он придёт сам, когда сочтёт нужным, — сказал Марек. — А пока. .. — Он помолчал, подбирая слово, и Арен догадался: отец собирался сказать «пока мы в безопасности», но не сказал, потому что слово это потеряло смысл три недели назад, в дождливое утро в мастерской. — Пока идём дальше.

Они пошли. Дорога миновала руины сторожевой стены, вышла на открытое плато, и пригорок остался слева и позади. Арен не обернулся — тренировал себя не оборачиваться, — но когда спустя полчаса плато кончилось и дорога свернула между холмами, он всё же дал себе трёхсекундную слабость. Пригорка уже не было видно. Зато на следующем возвышении, там, где дорога вилась серой лентой между полями, солнце в сотый раз за день поймало и бросило ему короткую искру — блик от чего-то металлического или просто от светлой ткани. Слишком далеко, чтобы понять. Достаточно близко, чтобы знать.

Он не сказал об этом вслух. Просто шёл дальше, и чувствовал — тем новым чувством за грудиной, которому не было названия, — как задержанное дыхание пластины за спиной отца стало чуть-чуть, на самый невозможный градус, теплее.

* * *

Они разбили лагерь у колодца — настоящего, каменного, с кольцом для ведра, у дороги, где колодцы стояли ещё со времён, когда этой дорогой пользовались достаточно часто, чтобы копать на неё воду. Кольцо было цело, верёвка — нет: оборвана чуть выше половины, конец затёрт, старый. Марек смастерил новую из прядей той самой просмоленной верёвки, что дал Тобен, — пальцы отца двигались в сумерках быстро и точно, как когда-то в мастерской, и Арен поймал себя на том, что смотрит на эти руки с каким-то странным, болезненным умилением: мир рушился, древние системы звались по имени его крови, а отец всё ещё чинил колодцы у дорог, потому что колодец с оборванной верёвкой — это вещь, которую можно починить, в отличие от почти всего остального.

Когда вода была поднята, костёр разведён, а в котелке, купленном в первом же селении за эйренское серебро, закипала похлёбка из сухого мяса и пшена, Арен сел напротив отца и сказал то, что крутилось в нём весь день, ещё с дынной телеги:

— Они ищут меня с запада на восток, и все знают, какая у меня рука. Они знают, что я механик. Они знают, что я не лечусь, как все. — Он перемешал похлёбку длинной палкой, не поднимая глаз. — Ещё две недели такой дороги, и впереди нас будут ждать в каждой деревне. Мы идём туда, где нас уже ищут.

— Да, — сказал Марек.

— И ты знал это, когда мы свернули с большой дороги.

— Да.

— Тогда зачем? Туда же просторнее, легче скрыться. ..

— Просторнее — значит виднее. А скрываться — значит оставлять следы в тех местах, где никто не ходит, а значит — замеченные следы. — Марек подбросил в костёр сучок, и искры поплыли вверх, в уже густой, звёздный темнёт. — На большой дороге мы — трое из тысяч. В глуши мы — трое из никого. Там нас найдут завтра. Здесь — когда-нибудь.

— А всадник? — спросил Арен. — Он тоже из тысяч?

Марек помолчал. Огонь трещал, тени от котелка прыгали по его лицу, оттеняя те самые глубокие складки, что залегли у него вокруг рта за последние недели.

— Всадник — причина, по которой я не повернул назад ещё два дня назад, — сказал он наконец. — Потому что если бы он хотел привести за нами других — он бы это уже сделал. А раз он идёт один и на виду, значит, либо он один и есть весь отряд, либо. .. — он замаялся, и Арен закончил за него, тише:

— Либо он уверен, что нам некуда деться. Что мы придём туда, куда надо, сами.

Марек не ответил. Молчание это было тяжелее любого ответа.

Лиара сидела чуть в стороне, чинила на колене что-то в своём колчане — делала вид, что чинит, Арен понял: руки её лежали на коже неподвижно уже минут пять. Она слушала. Когда молчание затянулось, она подняла голову и сказала то, о чём, судя по её тону, думала давно:

— Орден движется с запада и по большой дороге — медленно, официально, с постоянными дворами и допросами. Эти — дойдут до нас, но не скоро. — Она перебрала в уме расстояния, и Арен видел, как она это делает: глаза чуть сузились, взгляд стал стеклянным, будто она разглядывала карту на внутренней стороне век. — Но сегодня у дынного костра дочка старика сказала про «нарядных, на хороших конях, всё вежливых». Таких я видела. Их обувь не подходит для долгой дороги, и они едут медленно. Значит, они двигаются не быстро — они двигаются заранее. Они не догоняют нас, Арен. Они ждут впереди. — Она выдержала паузу. — И это ещё не всё. Сегодня, пока вы с Марексом спускались к ручью за водой, я осмотрела наш вчерашний лагерь.

— Ну и? — Марек поднял голову.

— Мы ушли с него вчера на рассвете. Я всегда, всегда сметаю след у костра — ты учил меня не оставлять лагерь нетронутым, Марек, в Эйрене, помнишь, у старых штолен? Так вот: кто-то стоял в моём сметённом костре босиком. След босой ноги, одна, в пепле. Нога широкая, стопа плоская. И — стоял. Просто стоял посреди пепла. Потом сошёл обратно на камень, а там я его не беру. — Она говорила ровно, но Арен видел, как побелели её пальцы, лежавшие на колчане. — Я не говорила вам с утра, потому что хотела пройти ещё раз по дороге и убедиться. Убедилась: тот же след появился в полуверсте позади нас сегодня, в росной траве у ручья. Там, где мы останавливались на десять минут, чтобы пополнить фляги.

— Босиком, — повторил Арен. Похлёбка в котелке булькнула, и никто не тронул её. — По росе. По камням. Кто ходит босиком в горах?

— Никто, — сказала Лиара. — Никто из людей.

Костёр треснул, выбросив длинную искру. Где-то далеко на востоке, над самой кромкой мира, — там, где хребты накапливали последний свет, — небо на мгновение стало чуть светлее, чем положено небу в это время суток, и потом вернулось обратно. Арен увидел, как головы Марека и Лиары повернулись туда одновременно, и понял, что не показалось. Огни. Старые проснулись. Он подумал о босом следе в пепле, о том, что кто-то стоял в мёртвом костре его вчерашнего лагеря — просто стоял, словно на месте, где люди спали, ему хотелось побыть ровно там, а не рядом, — и у него по коже пошёл холод, который не имел ничего общего с вечерним воздухом.

— Сколько групп нас сейчас ищут? — спросил он, и собственный голос показался ему чужим, слишком спокойным. — Орден. Люди с плоскими каблуками. Человек в сером. Всадник. Теперь ещё этот. .. кто бы он ни был. Четыре?

— Четыре, о которых мы знаем, — сказала Лиара. — Я приучила себя думать так: сколько бы ни было известных — считай, что есть ещё одна неизвестная. Она всегда есть.

— Замечательный принцип, — сказал Арен. — И что с ним делать?

— Жить по нему, — просто ответила она. — Всё остальное — уже судьба.

Он посмотрел на неё, и в свете костра, в этой простоте, почти будничности, с какой она говорила о смертельных вещах, ему вдруг стало ясно кое-что, до чего он доходил сам, молча, всю дорогу: Лиара не осталась с ними из жалости и не из вины. Она просто выбрала свободу — ту же свободу, о которой говорила в своей записке его мать, — и заплатила за неё единственной вещью, которая у неё была: привычным устройством всей её жизни. У Ордена есть имя для таких, как она, и это имя хуже любого проклятия. Она знала это. И всё равно срезала знак с плаща — и убрала его в карман, а не в огонь. Арен понял вдруг, с какой тоской неловкой, почти виноватой, что ему очень хочется когда-нибудь спросить её про этот кусок ткани во внутреннем кармане. И что он не спросит. Пока не спросит.

Марек разлил похлёбку. Ели молча. После еды Лиара отошла к дороге — сторожить, хотя слово это она не использовала: «посижу», говорила она, и это значило, что до середины ночи в лагере можно спать. Марек улёгся у костра, скрестив на груди руки, — его привычная поза сна, из которой он вставал раньше любого звука. Арен долго не мог уснуть. Он лежал, глядя в звёзды, и слушал, как за спиной, в котелке, остывает угли, как где-то на востоке, за невидимыми хребтами, небо тихо светится той подозрительной, ненастоящей полночной зарёй.

А потом, в ту самую грань между бодрствованием и сном, когда мысли начинают плыть, не спрашивая разрешения, он услышал, как отец, лежавший с закрытыми глазами и, казалось, спящий, тихо-тихо, почти беззвучно, на выдохе, напевает. Не слова — едва ли мелодия. Низкая, размеренная, с приставкой на два такта, которая уходила вверх и обрывалась, как обрывается песня, когда человек поёт её наполовину памяти, наполовину — себе самому. Арен затаил дыхание. Он знал эту мелодию. Не помнил откуда — знал телом, костями, тем местом за грудиной, где жило новое чувство и где, оказывается, жило и старое: три песни, которые мать пела ему, новорождённому, каждую ночь первых двух месяцев, и которые он не мог помнить, потому что человек не помнит того, что слышал, лёжа на руках у умирающей женщины. Но тело помнило. Тело всегда помнит то, что забывает голова.

Марек замолчал так же тихо, как начал. Не открыл глаз. Только повернул голову к костру, и Арен увидел в свете углей блеснувшую дорожку на его щеке — быструю, непрошеную, — и понял, что отец знал. Знал, что сын не спит. Знал, что мелодия дойдёт туда, куда не доходили слова. Они так и не сказали друг другу ни слова об этом — не тогда и не утром, — но с той ночи между ними стало ровно на одну общую вещь больше, и Арен понимал, что именно так, маленькими, никому невидимыми долями, отец и будет теперь возвращать ему мать: не рассказами, не признаниями, а половинкой мелодии у остывающего костра.

* * *

Утром всадника на пригорке не было.

Арен почти обрадовался — и тут же устыдился этого облегчения, потому что вместе с всадником исчезло и единственное, что можно было хоть как-то понять: человек на дороге, человек со следом, человек с расстоянием. Теперь его не было на пригорке, не было на стене, не было и позади — Лиара вернулась с утреннего круга с лицом, которое она делала особенно непостижимым, когда что-то шло не по её прикидкам.

— След уходит в сторону, — сказала она, показывая на север, туда, где холмы сменялись грядой низких, покрытых лесом кряжей. — В ночь он съехал с дороги. Перед рассветом. И — она наклонилась, показывая на отпечаток, который Арен не разглядел бы и под угрозой смерти — здесь он спешил. Повёл коня в поводу. Уходил пешком, не спеша. Он не бежал и не прятался. Он. ..

— Что?

— Он развёл костёр. — Она подняла глаза. — Небольшой, сухие ветки, аккуратно затоптан. Рядом — ямка. Он что-то там оставил и закопал. Или выкопал. Я не стала копать: если это для нас — рано или поздно мы это найдём. Если не для нас — я не хотела бы трогать чужое послание до того, как пойму, кому оно адресовано.

Они стояли над ямкой втроём. Расстояние до неё — шагов десять по расщелине между двумя валунами, куда утреннее солнце заглядывало косо и недолго. Ямка была заметна только потому, что Лиара умела видеть такие вещи: чуть иная, на полтона светлее земля, аккуратно уложенный сверху пласт дерна — работа человека, привыкшего не оставлять следов.

— Копай, — сказал Марек. Арен опустился на колени. Пальцы вошли в сырую землю легко — копали неглубоко, всего ладонь, — и почти сразу коснулись ткани. Он осторожно, как достают из воды раненую птицу, извлёк свёрток: промасленная холстина, тяжёлая от влаги, перевязанная ремешком. Внутри лежала вещь, которой Арен не знал и которую узнал сразу.

Короткий стержень тёмного металла — вот что увидел бы любой. Арен увидел больше: стержень был цельным, без швов, с выточенными вдоль тонкими гранями, и в верхнем его конце, в углублении размером с ноготь, покоился крошечный сгусток света. Не отблеск — свет, живой, ровный, днём почти не видный, но наверняка видный издали в темноте. Вещь из той же мастерской, что и механизм под черепичной крышей их старой жизни. Из той же, что и камень Восточного узла. Из той же — и это он понял не умом, а тем внутренним чувством, что отозвалось теперь на грудной клетке тихим, ровным гудением, — из которой вышел он сам.

В свёртке, под стержнем, лежал клочок бумаги. На нём, твёрдым, размашистым почерком человека, привыкшего писать верхом, была выведена одна-единственная строка:

«У следующей реки ступайте на правый берег. На левом вас уже ждут. — В.»

Арен перечитал строку дважды. Потом протянул бумагу отцу и посмотрел через его плечо, как меняется лицо Марека — сначала напряжённое, ожидающее беды, потом, после третьего прочтения, странно, неожиданно смягчившееся, будто за этой подписью стояло не имя, а воспоминание.

— Ты знаешь, кто это, — сказал Арен. Не вопрос.

Марек долго не отвечал. Он смотрел на стержень с застывшим светом в ладони сына, и в его лице шла тихая, глубокая работа — та самая, что Арен уже научился замечать и уже перестал пытаться торопить.

— Знаю имя, — сказал он наконец. — Одно из тех, что человек носит не всю жизнь. И это имя давно должно было умереть — так же, как должны были умереть мы с твоей матерью, и так же, как, судя по всему, умерло не всё, что мы оставили позади. — Он свернул бумагу и отдал её Арену обратно — жест, от которого тому стало не по себе: бумагу с чужим почерком отец отдал ему, как передают поручение, а не новость. — Если он оставил это нам, а не тем, кто идёт за нами, — значит, у него была причина не показываться. А если он не показывается и оставляет знаки на дороге. .. — Марек поднял голову и посмотрел на восток, туда, где далёкий хребет держал на себе последние, ещё невидимые с этой долины огни. — .. значит, снова впереди нас кто-то ждёт. И он, — кивок на свёрток в руках Арена, — думает, что нам лучше узнать об этом раньше, чем мы туда дойдём.

Лиара тем временем стояла у валуна и смотрела не на свёрток, а на дорогу — туда, где серой лентой она уходила между холмами и где, по словам клочка бумаги, за ближайшим поворотом текла река, разделяя мир на тот берег и этот.

— Правый берег — длиннее, — сказала она, не оборачиваясь. — Три лишних дня, если держаться дороги. Левый — короче и гуще засели: там два селения и мост. Люди, ждущие нас на короткой дороге, рассчитывают, что мы её выберем. Усталые всегда выбирают короткую. — Она наконец повернулась, и в её глазах Арен увидел то, к чему за эти недели начал привыкать и чему не переставал удивляться: холодную, ясную работу мысли, идущей вперёд тела. — Трое суток назад ты, Арен, спросил, сколько групп нас ищет. Теперь мы знаем про пятую. Но впер-вые одна из них не ищет нас — она предупреждает нас. И я, как бы мне ни хотелось. .. — она помолчала, и на сухих её губах дрогнуло что-то почти смешливое, — я не умею игнорировать такие вещи. Охотника учат: если зверь предупреждает тебя о сети — сначала смотри на сеть. На зверя — потом.

Они двинулись дальше, когда солнце поднялось уже на добрый косой луч над холмами. Дорога шла вниз, к долине, где между берёзовых рощей серебрилась ещё не видимая, но уже чужая — по влажности воздуха, по зелени травы, по крикам незнакомых птиц — река. Арен шёл, сжимая в пальцах тёмный стержень с живым светом внутри, и чувствовал, как тот слегка, почти нежно греет ладонь. За спиной отца, за полотном промасленной ткани, молчала пластина — тихо, ровно, как человек, который слышал, как ему ответили. Где-то позади, в занесённом лесом гряде, исчезал бесследно след человека, которого звали одним из имён, что не носят всю жизнь. Где-то впереди, на левом берегу реки, их уже, судя по всему, ждали. А высоко на

востоке, над чёрной линией хребта, в предрассветном свете последних ночей тлело то, что старики называли проснувшимся старым, — и Арен шёл туда, впервые за все эти дни не потому, что его гнали, а потому, что наконец хотелось узнать, что ждёт.

За поворотом дороги заблестела вода, и ветер, поднимаясь с реки, принёс с собой запах инея, мокрого камня и — едва уловимый, но отчётливый для того, кто научился его узнавать — раскалённого далёкого металла, словно где-то там, за водой, за лесом, за грядой всё ещё ждала своего часа работа, начатая задолго до того, как на свет появился человек по имени Арен Вейр.

Глава 2. За старой границей

Реку они увидели за полчаса до того, как до неё дойти, — по птицам. Сначала Арен обратил внимание, что крик их стал другим: не тот рассеянный, вечерний квохот, что носится над любой водой, а короткий, тревожный, срывающийся на полуслове, будто птицы взлетали не по своей охоте, а по чужой. Потом ветер, повернув на долину, принёс запах — тяжёлый, холодный, иловый, — и Марек, не сбавляя шага, сказал только:

— Вот и вода. Теперь тише всех троих.

Они спустились к берегу не по дороге, а по оврагу, — Лиара вела, и вела так, что сами они почти не тревожили кусты: она обходила заросли по дуге, ставила ногу на камень, где камень глушил шаг, и дважды останавливалась, прислушиваясь, прежде чем вывести их на последнюю террасу над рекой. Река оказалась шире, чем Арен ожидал, — добрых двух сотен шагов от берега до берега, — мутная после весеннего половодья, с ровным, упрямым течением и островами ила, заросшими осокой. На левом берегу, напротив, над самой водой стоял мост — старый, каменный, с обрушенной средней аркой, и по нему, как по подножию усталого великана, перебирались люди: обоз с волами, две телеги, верховой. У въезда на мост, не прячась, стояли двое на конях. Даже с этой дистанции Арен разглядел, что кони у них не те, что берут в найм на переправе,

— слишком ровные, слишком ухоженные. И что всадники смотрят не на воду и не на небо. Они смотрели в лица. Лиара долго смотрела на них через сомкнутые пальцы — трубкой, отсекая лишний свет. Потом опустила руку и сказала тихо:

— Проверяют. Каждого, кто на мост. Вчера этих там не было

— я видела эту дорогу издалека ещё позавчера, костёр у моста был, людей вот таких — нет.

— Значит, клочок бумаги не соврал, — сказал Арен.

— Значит, клочок бумаги знал, о чём пишет. — Она

помолчала. — Это две разные вещи, и путать их не стоит. Правый берег, как и говорила записка, оказался безлюдным — не потому что был безопаснее, а потому что был дольше и глуше. Переправляться пришлось у старой мельницы: мельничный плот, полуразрушенный, вода бежала через пролом грудной, волнующей пеной, и хозяин — сухой старик с лицом цвета мельничной муки, — выслушав их, долго молчал, перебирая в уме, вероятно, не цену, а последствия.

— На тот берег я сам не хожу, — сказал он наконец. —

Лодку дам. Грести будете сами. И слушайте старика, раз уж спрашиваете дорогу: на том берегу держитесь правой руки вдоль воды, пока не выйдете на старую гать. А потом — как знаете, только не ночуйте у камней, что в ряд стоят. Там нехорошо. Птицы те камни облетают.

— А что за камни? — спросил Арен, поднимая в лодку котелок и свёрток с одеждой.

— Камни. Стоят — сколько мой дед помнил, столько стоят.

А птицы облетают, — старик пожал плечами с непроницаемостью человека, который перестал задавать вопросы задолго до того, как родились его внуки. — За серебро и лодку, и молчание. Считайте, что за молчание — вдвое. Они отчалили на рассвете, когда вода ещё держала ночную серость и туман лежал над рекой цельным, неподвижным полотном. Марек грёб с кормы, ровно, без суеты — Арен знал, что отец умеет управлять лодкой, так же как знал, что тот умеет драться, зашивать раны и читать древние знаки, и каждое такое знание было маленьким камешком в ту стену, которую двадцать пять лет строило между ними молчание. Лиара сидела на носу, спиной к движению, — лицом к берегу, который они покидали, и Арен видел, как её взгляд дважды скользил по мосту, по всадникам у въезда, становившимся всё

меньше и всё подозрительнее в утренней дымке. Во второй раз она чуть повернула голову — и замерла.

— Они смотрят сюда, — сказала она, не повышая голоса.

— На воду. На туман.

— Они не могут нас разглядеть, — сказал Марек, не прерывая гребка. — Никто не разглядит лодку в этом тумане.

— Они не разглядывают. Они слушают. — Лиара повернулась лицом вперёд, и Арен увидел, как напряглось её челюсть. — Гребите ровно. Не ускоряйтесь. Человек, который ждёт на мосту, чувствует воду: туман от лодки дрожит иначе, чем туман от ветра. И они гребли ровно — Марек, и Арен, взявшийся за второе весло, — ровно, как гребут по реке, где водится щука и где никто никого не ищет, и в эти несколько долгих минут Арену было почти спокойно: туман скрывал берега, скрывал мост, скрывал всё, кроме ближней воды и лица Лиары на носу лодки, и мир сузился до размера трёх человек в деревянной оболочке посреди реки, и это напоминало ему мастерскую в дождь — ту же обособленность, тот же укромный гул. Потом вёсла ударились об ил, туман порвался, и правый берег принял их — тихий, заросший, непохожий на тот, что они покинули. Никто не сказал вслух «проверка прошла». Не было повода.

Первый день за рекой не принёс ничего, кроме дороги — и этого оказалось достаточно, чтобы Арен чувствовал себя не в своей тарелке с самого полудня. Дорога здесь была другой. Слева от воды она шла полосой шириной в две телеги, утоптанной ещё в незапамятные времена, и по тому, как она держалась, — без колеин, без выбоин, каменное ложе ровное, будто его чинили прошлым летом, — а по обочинам трава пробивалась сквозь старый песок кое-где, кое-где одичалые яблони цвели над ней белыми зонтиками. Ни одного свежего следа телеги. Ни одного отпечатка подковы не первой свежести. Дорога была пустой, как бывает пусто в заброшенном доме, где всё ещё стоит мебель.

— Старик на мельнице сказал — правой рукой вдоль воды,

— напомнил Арен.

— Мы и идём правой рукой, — сказал Марек. — Просто

идём тише. К обеду они вышли к развалинам сторожевой башни — той самой, что мельник, вероятно, имел в виду, хотя говорил о камнях в ряд. Башня стояла на бугре над дорогой, каменная, круглая, расколота молнией или временем пополам, так что одна её половина обнажила внутренности — винтовую лестницу, сросшуюся с плющом, — а другая ещё держала остаток кровли. У подножия бугра, в траве, лежали камни. Не валуны — камни: вытянутые, по груди человека высотой, обточенные не рекой, а рукой, каждый с выбитыми на гладкой стороне знаками. Арен подошёл ближе прежде, чем Марек успел предостеречь, и остановился в двух шагах, чувствуя странное, неловкое сходство с тем, как останавливаются перед чужой могилой: камни стояли не грудой и не рядом — они стояли цепью, растянутой вдоль всего бугра, и задний конец её терялся в лесу. Пять камней. Потом пропуск. Потом, судя по неровной линии холма, — ещё.

— Граница, — сказал Марек за его спиной. Голос у отца

был тот, какой бывает у людей, называющих вещи своими именами впервые за много лет.

— Старая граница. Не та, что по картам.

— Граница чего? Кого? — Арен протянул руку к ближайшему

камню, потом остановил сам себя и посмотрел на отца. В тот момент он ещё не знал почему — просто рука, дойдя до воздуха на ладонь от камня, наткнулась на нечто, что можно было назвать только невежливостью камня: он словно перестал быть вещью, которую можно трогать без спроса.

— Не помню, чтобы меня учили, — сказал Марек медленно.

Он обходил камень сбоку, глядя на знаки, и Арен видел, как движутся его губы

— не читая, а вспоминая. — За неё когда-то ставили стражу. В те времена, когда по эту сторону ещё никто не жил, а по ту — не решались. Потом пришли люди с картами и королями, начертили свои границы поверх, поставили свои башни — вот эту, — он кивнул на расколотую башню, — а старая осталась. Старые границы не убирают, Арен. Их просто перестают видеть.

— А как же «по ту сторону не решались»? — спросила

Лиара. Она стояла на почтительном расстоянии, рука на ремне лука, — не потому что камни её пугали, а потому что она привыкла не верить вещам, которым не может дать имя. — Чего не решались? Марек долго не отвечал. Ветер шевелил траву на бугре, белая пыльца с одичалых яблонь плыла через дорогу, и в этой обычной, летней тишине отец вдруг показался Арену очень старым — не уставшим, каким он был в дороге, а старым, как стары эти камни: человеком из другого времени, которому дали отсрочку, а не новую жизнь.

— Называть её, — сказал Марек наконец. — Там, откуда я вышел, учили: земля за старой границей не любит, когда её называют. Называешь — и она тебя слышит. А что она с этим делает — не решаешь ты.

Лиара переглянулась с Ареном — коротко, чуть заметно, тем взглядом, которым они обменивались всё чаще: смотри, вот ещё одна дверь, и отец опять стоит у неё с ключом в руке, и опять не поворачивает.

Дневной жар они пережидали в тени башни, на полу бывшего караульного помещения, где ещё держалась кладка, — по привычке, выработанной за недели дороги: в полдень не идти, когда глаза слепит и след не прочитаешь. Арен сидел у пролома и чинил ремень сумки — пальцы сами искали работу, как искали её всю жизнь, — и слушал, как за стеной Марек тихо разговаривает с Лиарой. Не специально тихо. Просто они оба умели говорить так, что их слова не летели дальше, чем требовалось, — мастер и охотница, два человека, для которых голос был тоже инструментом.

— Ты ушла от Ордена, — говорил Марек — не вопросом, констатацией. — Я не спрашиваю почему. Я спрашиваю другое: ты понимаешь, что тебе придётся выбирать ещё раз? Не раз. Много раз. И каждый раз — заново.

— Я знаю, как выбирать, — ответила Лиара, и в её голосе

Арен услышал ту же сухую твёрдость, с какой она чистила оружие. — Вопрос не в том, умею ли я. Вопрос в том, что я выберу, когда выбор будет между ним и тем, что я всё ещё считаю правильным. Выбор бывает такой. Я его ещё не сделала. Не думай, что сделала.

— Я и не думаю. — Пауза. Скрип кожи — Марек переменял

положение. — Я двадцать пять лет делал вид, что мой выбор сделан и отменён не может быть. Потом механизм нагрелся, и я узнал, что выбор не отменяется — он только откладывается. И растёт. Как долг. Арен нарочно зашумел пряжкой, когда встал — не из деликатности, а потому что подслушивать дальше казалось нечестным даже по отношению к себе самому. Он вышел из башни на солнце и пошёл вдоль цепи камней, вдоль старой границы, считая шаги и не зная зачем. Пять камней у бугра — потом лес — потом, если верить линии холма, продолжение. Птицы, заметил он, и вправду облетали их стороной: над всем склоном стрекотали, порхали, ссорились в воздухе птицы, но над самой цепью — ни одной. Пустое небо, тонкое, как ртутная полоска. Седьмой камень стоял в берёзовой роще, и подойдя к нему, Арен впервые за всё утро почувствовал то, к чему готовился, кажется, с самого моста. Стержень за пазухой — тёмный, дарённый, с крошечным застывшим светом внутри, — не нагрелся и не задрожал. Он стал тяжелее. Вот как это было: одно мгновение — вещь лежала на груди, как вещь, а в следующую — она лежала там, как якорь, которому что-то ответило из глубины. Арен остановился. Роща стояла неподвижно, берёзовые листья висели серебром с нижней стороны, и в этой подвешенной тишине он услышал — не ушами; он уже начинал различать, когда слушает

не ушами, — очень тихий, очень ровный гул. Под землёй. Глубоко. Такой же, как в штольнях под Эйреном, только здесь он не шёл издали по коридорам

— он был под ногами, под корнями, под всей этой тихой, заброшенной землёй.

Камень седьмой был сбит с вертикали — недавно, лет пять, не больше: рядом ещё держался свежий откол, рыжий внутри. Его повалили или ветром с корнем подмыло, — он лежал под углом, как человек, которого уложили отдохнуть, и выбитые на нём знаки смотрели в небо. Арен подошёл вплотную — не прикасаясь, только глядя, — и знаки, тёмные, выщербленные, на мгновение стали ему. .. знакомы. Не понятны — знакомы, как бывает знакомо лицо в толпе, которого ты не можешь вспомнить. Круг, рассечённый линией. Три засечки. Дорожка из точек, уходящая к краю камня и дальше, к следующему, к восьмому.

— Их читать нельзя как письмо, — сказал Марек за его

спиной, и Арен не вздрогнул — он почти ждал его. — Их читают как дорогу. Точки — это не слоги. Это повороты.

— Ты умеешь? — Арен не обернулся.

— Я умел читать повороты. — Шаги по траве — отец

подошёл и встал рядом, глядя на поваленный камень с тем выражением, каким смотрят на старых знакомых в неподходящем месте. — Тридцать лет не читал. Смотри, как они меня дождались, — добавил он, и Арен не понял, шутка это или нет, и не спросил. Он нагнулся — не к знакам, а к траве у подножия камня, где среди осоки белело нечто, не похожее на камень. Кость. Большая, давняя, троганная зверем и временем — половина таза какого-то животного, оленя, может быть, или лося, — но рядом с костью, глубоко втоптанная в землю, лежала другая находка: подкова. Не железная — тёмная, чёрно-серого цвета, без ржавчины, хотя пролежала здесь, судя по всему, не один десяток лет. Арен протянул к ней руку и замер: у края подковы, на грани металла, дрожал едва видимый, едва живой огонёк — не отражение, отражать было нечего, солнце стояло за спиной. Огонёк был там сам по себе, в металле, который лежал в земле с тех пор, как мир вокруг этого камня был другим. Марек опустился рядом на одно колено и долго смотрел на эту искорку. Потом, не трогая, поднял глаза на Арена, и в них был тот самый вопрос, который Арен уже боялся задавать себе всё утро.

— Ты чувствуешь? — спросил отец тихо.

— Чувствую, — сказал Арен. Горло у него пересохло. —

Она. .. дышит. Вся цепь. Под землёй — гул, а в камнях — нет, в камнях тихо, но они как будто. .. натянуты. Как тетива. Отец, — он наконец посмотрел Мареку в глаза, — я слышал что-то похожее только два раза. В мастерской. И под Эйреном. Это то же самое. Марек не ответил. Он сидел на корточках у поваленного граничного камня, старая рука его лежала на колене, пальцы сжались и разжались

— один раз, — и Арен вдруг понял: отец молится. Не тому богу, что в часовнях у дорог, — чему-то старшему, чему-то, чьи камни стоят в ряд через лес,

— и это было так непохоже на Мареку, так лишено его обычной сухой собранности, что у Арена сжалось сердце.

— Не трогай её, — сказал Марек наконец, кивнув на

подкову. — Не сейчас. Не здесь, у границы. — Он выпрямился, и голос его снова стал тем, каким был всю дорогу, но Арен уже успел увидеть ту щель. — Пойдём к Лиаре. Поедим. А потом — дальше, пока свет. Мне надо подумать, что я скажу вам сегодня вечером.

— Скажешь что? — спросил Арен, поднимаясь.

— Правду, — просто ответил Марек и пошёл к башне, не оглядываясь.

Вечер застал их в двух часах от реки, на пригорке над заброшенной гатю — старая дорога здесь уходила в болотистую низину, и чтобы не ночевать в сырости, свернули на сухое. Костёр развели маленький, почти бездымный — Лиара уложила его так, что издали он был

похож на случайный всплеск заката на сухой траве. Ели суп из сушёной рыбы и кукурузы — последнее, что осталось из припасов, купленных ещё на левом берегу; с завтрашнего дня — рыбная ловля, грибы, и то, что удастся купить в единственном селении, которое, по словам мельника, лежало на третий день пути. Когда котелок опустел, Марек отодвинулся от огня, взял ветку и начал чертить в пыли — не план, не карту, а какие-то линии, по которым Арэн сразу не понял ничего, кроме того, что отец откладывает это уже давно, годами, и сегодня наконец решился.

— Есть вещи, которые я собирался рассказать тебе, когда ты

будешь готов, — сказал Марек, не поднимая глаз от пыли. — Потом я понял, что готовности не существует. Есть только момент, когда молчание становится хуже правды. Мы за ним. — Он провёл последнюю линию — длинную, уходящую за край круга света. — Сегодня вечером я расскажу вам о Ветране. О том человеке, что вёл нас через реку клочком бумаги. А потом — почему эти камни, — он мотнул головой в темноту, в сторону леса, где спала в ряд старая граница, — почему они для меня не новость, а дорога домой. Арэн сидел не шевелясь. Лиара, напротив, медленно, очень медленно опустила руку на колено, ближе к ножнам — не потому что готовилась к угрозе, а потому что тела людей так устроены: когда надвигается большая правда, они ищут чего-то твёрдого. Костёр потрескивал. Где-то в низине болота выдыхало ночную прохладу, и первые звёзды вставали над той стороной, откуда они пришли,

— над рекой, над мостом, над двумя всадниками, что слушали туман.

— Начинай, — сказал Арэн. И, подумав, добавил то, что не

собирался говорить вслух, что созревало в нём с башни, с камней, с берега реки:

— И не смягчай ничего. Мне уже двадцать пять лет.

Марек посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом — взглядом человека, который двадцать пять лет учился говорить правду и так и не выучился, а теперь собирался попробовать в последний раз.

— Ветран был хранителем дорог, — начал он наконец. — В

Доме есть — были — люди, чья работа не прославлялась и не обсуждалась. Они не воевали, не судили, не учили. Они знали дороги. Старые. Такие, как эта, — он тронул пальцем линию в пыли. — И хранили их от того, чтобы ими не воспользовались те, кому не положено. Тридцать лет назад Ветран провёл нас с Элиной через эту самую границу, — он произнёс это ровно, но ветка в его пальцах чуть дрогнула. — Тогда мы ещё не знали, сколько лет продлится наша дорога. Через десять лет мы уже скрывались под чужими именами и в конце концов пришли к Тобену. Но первым человеком, который вывел нас через эту границу так, чтобы нас не услышали камни, был Ветран. Потому что никто другой не мог провести нас так, чтобы нас не услышали камни.

— А зачем было, чтобы не услышали? — спросила Лиара

тихо. — Разве это — плохо, что граница реагирует?

— Реагирует она не на всех. — Марек посмотрел на Арэн.

— Ты сегодня почувствовал гул под землёй. Я стоял рядом с тобой и не

чувствовал ничего, кроме ветра. Твоя мать, будь она здесь, — и он замолчал на долю секунды, собирая голос, — почувствовала бы. Как ты. Как почувствовал бы Ветран — и как не почувствовал бы ни один человек, идущий этой дорогой за тысячу лет. Эти камни стоят не для того, чтобы охранять границу от людей. Люди сами её охраняют, не зная. Они стоят для того, чтобы знать, когда по дороге идёт кровь, которой эта дорога помнит.

— Линия Вейров, — сказал Арэн. Слова вышли сами, сухие, тяжёлые.

— Не называй её так, — Марек поднял руку, останавливая

его, — и в этом жесте было что-то почти испуганное. — Не здесь. Не у границы, в первый же день за ней. Назови её так — и она услышит. Это не красивая старость, сын. Я тридцать лет

молчал о ней не из упрямства. Я молчал, потому что каждое слово, сказанное о ней вслух, — это дверь, которую ты не можешь запереть обратно. Сегодня утром, у камня, ты открыл одну. Я видел по твоему лицу. Не открывай вторую раньше времени. Тишина после этих слов была долгой. Арен чувствовал, как стержень на груди — всю дорогу, весь вечер — лежал тихо, как лежит всегда, и боялся пошевелиться, чтобы не проверить, отвечает ли он отцовским словам, греется или тяжелеет. Лиара нарушила молчание первой — тихо, деловито, как спрашивают о погоде:

— Тогда что нас ждёт дальше по этой дороге?

— Повёрнутые камни, — сказал Марек. — Некоторые упали,

как тот, что мы видели. Некоторые — не камни, а то, что стоит рядом с ними, под ними, в них. Дальше, за третьим днём пути, дорога выходит к месту, где старая граница делает то, чего не делает нигде больше. — Он замолчал, и Арен понял, что это не конец рассказа, а край того, что отец решился сказать сегодня. — Завтра — заговорю снова. Сегодня — вот столько. Я тридцать лет не говорил об этом вслух, и у меня, как у старой печи, дым идёт сначала в комнату, а потом уже в трубу. Дайте мне ночь. Он не стал ложиться. Остался сидеть у костра, и Арен, устраиваясь на плаще у противоположного края золы, видел в полудрёме, как отец неподвижным силуэтом сидит против звёзд, время от времени подбрасывая совсем маленькие сучья, — не для тепла. Для света. Для того, чтобы пыль под ногами, с начерченными линиями, не уходила во тьму раньше времени.

Арен проснулся от холода — глубокой ночью, в тот час, когда костёр уже впал в себя и даже болото за низиной замолчало. Он лежал, не открывая глаз, прислушиваясь к тому, что его разбудило, и нашёл: гул. Тот самый, подземный, который утром был под землёй, — теперь он был не под землёй. Он был внутри. Ровный, низкий, будто заложило уши на высоте, — и вместе с ним в груди, там, где жило новое чувство, двигалось что-то ещё: не боль, не головокружение, а медленное, размеренное давление, как будто кто-то на другом конце невидимой проволоки осторожно, осторожно тянул, проверяя, держит ли. Он открыл глаза. Над ним — звёзды. Вокруг — тёмные силуэты Лиары и отца, дыхание их шло ровное, далёкое. И он увидел то, отчего перестал дышать сам. Стержень лежал у края его плаща, где Арен положил его на ночь, — и свет внутри его, тот самый крошечный застывший огонёк, который днём был почти не виден, — не горел. Пульсировал. Ровно, тускло, в такт гудению, в такт тому, что тянуло из его груди. Медленно, очень медленно Арен повернул голову в сторону леса — туда, где за мокрой травой, за чернью берёз спала цепь старых камней. По линии леса, под самой чернотой холма, дрожал свет. Не огонь — огонь движется и гаснет. Это стояло: пять тихих, ровных точек, на месте камней, — и шестая, тусклая, чуть правее, на месте поваленного. Старые границы не убирают. Их перестают видеть. Но ночью, когда никто не смотрит, они иногда — вспоминают друг о друге, что стоят в одну линию, в одну работу, в один древний долг, начерченный в пыли ещё до того, как человек научился писать. Арен лежал и смотрел, и в нём, вместо страха, — страх пришёл потом, утром, — поднималось странное, тяжёлое, всёобъемлющее чувство, которого у него не было слова. Слово пришло само, из той самой части его, что отвечала на прикосновение к металлу, из той памяти, которой он не жил, но которая жила в нём: он стоял в дверях. Не выходил — стоял. Дверь была старая, тяжёлая, и она открывалась не наружу, а внутрь, во всё, что было за ней, и решать, когда переступить порог, предстояло ему — но уже не одному, потому что по ту сторону, в темноте, на том конце проволоки, кто-то ждал ответа уже очень, очень долго. За его спиной, у остывшего костра, пластина, завёрнутая в промасленную ткань и лежащая за пазухой спящего отца, молчавшая шесть дней, вдруг отозвалась. Тихо. Один раз. Так, что услышал только он: ПУТЬ ОТКРЫТ И снова тишина. Но это уже была другая тишина — тишина коридора, по которому кто-то пошёл, и дверь за ним оставили незапертой.

Глава 3. Хранитель дорог

Марек заговорил, едва рассвело, — не дожидаясь, пока сварится каша, не дожидаясь, пока Арен толком проснётся.

— Старая граница — это не линия на карте, — сказал он, глядя не на сына, а на остывшую золу костра. — Это шов. Дом ставил такие на всех рубежах, где когда-то проходили системы Архена, — не стены, не посты, а швы, которые чувствуют, кто идёт через них и какой кровью. Камни — только видимая часть. Под землёй, между ними, тянется то же самое, что тянется между узлами в сети: нить. Обычный человек проходит и не замечает ничего. Вечный — замечает холод. А Вейр...

— А Вейр будит шов, — сказал Арен.

— Будит, — подтвердил Марек. — И будет будить каждый следующий, пока мы идём вдоль границы. Через три дня дорога выведет нас к месту, где эта граница — не линия камней, а узел. Я не был там тридцать лет. Надеюсь, что не окажусь снова.

Он поднялся, отряхнул колени и, не договорив того, что явно собирался сказать дальше, коротко бросил: «Идём», — и этим разговор закончился. Арен хотел спросить ещё, но Лиара, уже затянувшая ремни сумки, покачала головой: не сейчас. Она смотрела не на отца, а в сторону леса, туда, где накануне ночью горели шесть тусклых точек.

— Светились всю ночь? — спросил Арен тихо.

— До рассвета, — сказала она. — Погасли, когда небо посерело. Как будто ждали, что их заметят, и, заметив, что заметили, — успокоились.

— Или кто-то ещё их увидел, — сказал Арен.

Лиара не ответила, но плечи её, когда она закидывала лук, были напряжены ту же обычного.

Дорога второго дня шла вдоль границы леса, то ныряя в чащу, то снова выбираясь на открытые прогалины, заросшие жёсткой осокой, — и весь этот день что-то в воздухе было не так. Арен не мог назвать это точнее, чем «не так»: птицы здесь пели реже, а если пели, то обрывались на середине песни, будто вспоминали о чём-то и улетали прочь. Однажды, на одной из прогалин, Лиара резко остановилась, присела, прижав ладонь к земле, и долго слушала.

— Что? — шёпотом спросил Арен.

— Лошади. Не наши.

— Далеко?

— Было далеко.

Марек выругался сквозь зубы и повёл их в обход, через заросли ольхи, где ветки хлестали по лицу, а под ногами чавкала болотная жижа. Они шли так до самого вечера, меняя направление трижды, и когда наконец остановились на ночлег в густом ельнике, Арен чувствовал себя так, будто целый день бежал, хотя они ни разу не перешли на бег.

Лагерь разбили без костра. Марек настоял: огонь — это не только тепло, это голос, который слышно дальше, чем кажется. Они жевали холодную кашу, вслушиваясь в темноту, и Лиара, подняв голову от котелка, вдруг тихо спросила:

— Стержень.

Арен не сразу понял, потом вспомнил и вытащил его из-за пазухи — тонкий кусок тёмного металла, который дал ему старик-паромщик вместе с лодкой, сказав только «раз вы такие, пусть будет у вас хоть что-то, что светится раньше беды, а не после». Огонёк внутри не горел.

— Спит, — сказал Арен.

— Значит, пока тихо, — сказала Лиара, но ни ей, ни ему от этого легче не стало.

На третий день к полудню лес расступился, и дорога вывела их к месту, которое Арен узнал раньше, чем успел его разглядеть, — не глазами, а тем самым тянущим чувством в груди, которое теперь не отпускало его неделями.

Это была поляна — не круглая, а вытянутая, будто кто-то давным-давно расчистил в лесу длинный коридор и оставил его расти заново лишь по краям. Посреди поляны, в линию, тянулись камни — не шесть, как ночью казалось издали, а одиннадцать, из которых три лежали, повалившись, во мху, а остальные стояли, вросшие в землю по пояс, серые, изрезанные линиями, похожими на те, что Арен видел на пластине отца. В дальнем конце поляны, там, где коридор камней заканчивался, высилась арка — не такая, как на Восточном узле, грубее, древнее, сложенная из нетёсаного камня, без единого следа механизма.

— Вот оно, — сказал Марек, и голос его дрогнул. — Узел.

Они не успели сделать и десяти шагов, когда Лиара застыла, вскидывая руку.

— Стой.

— Что?

— Там.

На другом конце поляны, у самой арки, шевельнулась тень. Не одна. Арен насчитал пятирх — может, шестерых, — выходящих из-за камней с той же выверенной неспешностью, с какой выходили из леса люди в Эйрене. Знакомая, не человеческая экономность движений.

— Наследующие, — выдохнул Марек.

— Они ждали здесь, — сказала Лиара, уже доставая лук. — Не искали. Ждали.

Передний из них — высокий, в тёмной одежде без знаков, с коротким мечом у пояса — остановился посреди поляны и крикнул, не повышая голоса настолько, чтобы это выглядело криком:

— Дальше нельзя, Арен Вейр. Поворачивайте.

— Какое совпадение, — тихо сказал Арен. — Нам тоже так говорят последние три недели.

Марек схватил его за плечо.

— Назад. В лес.

Но было поздно: с обеих сторон поляны, из кустов, где только что казалось пусто, начали подниматься новые силуэты — отряд обходил их по кругу, медленно сжимая кольцо между деревьями и линией камней.

— Окружают, — выдохнула Лиара.

Она выстрелила первой — не в человека, а в воздух, резко, коротко, и стрела, описав дугу, воткнулась в землю прямо перед передним преследователем. Предупреждение. Тот даже не дрогнул.

— У вас нет пути назад, — крикнул он. — И нет пути через арку. Отдайте мальчика — и уйдёте живыми.

— Мы уже слышали эту фразу, — сказал Марек, вытаскивая нож. — Обычно за ней следует не слишком приятное продолжение.

Ответом был свист. Арен не увидел, кто метнул первым, — просто мир вдруг наполнился движением: Лиара дёрнула его за руку, одновременно разворачиваясь, стрела прошла там, где секунду назад была его голова, и земля под ногами на мгновение накренилась, как палуба корабля.

— К камням! — крикнула Лиара. — Там теснее, им сложнее окружить!

Они побежали. Это был не тот бег, каким они шли весь прошлый день, — рваный, отчаянный, с перехваченным дыханием, с ветками, хлещущими по лицу. Арен слышал за спиной топот, крики, звон тетивы, и один раз что-то обожгло его предплечье — не глубоко, скользом, но достаточно, чтобы вскрикнуть и не почувствовать боли только через несколько шагов, когда она наконец догнала его сама.

Они влетели в проход между первыми двумя камнями, и Марек, развернувшись, встретил ближайшего преследователя клинком — коротко, жёстко, без замаха, тем движением, которое Арен видел у отца лишь однажды, в лесу под их родным городом, и думал, что никогда не увидит снова. Нападавший отшатнулся, зажимая руку.

— Не убивай! — крикнул кто-то сзади, тот самый, в тёмной одежде. — Он нужен живым!

— Про меня ничего не было сказано! — рывкнул Марек и ударил снова.

Лиара стояла спиной к спине с ним, разворачиваясь короткими, точными шагами, отбивая выпады с двух сторон одновременно, и Арен, оказавшись в середине этого крошечного, яростного круга, впервые за весь путь ощутил не страх, а странную, звенящую ясность: стержень на груди вдруг налился теплом, резким, почти обжигающим, и рядом, по всей линии камней, одновременно, с глухим каменным стоном, начали загораться линии — те самые, что он видел ночью едва тлеющими, теперь вспыхнувшие в полную силу.

Земля под ногами дрогнула.

— Что происходит?! — крикнула Лиара, не оборачиваясь, продолжая отбивать удары.

— Я не знаю! — крикнул в ответ Арен, хотя где-то глубоко внутри уже знал: это он. Не нарочно, не по воле, а просто потому, что оказался здесь, между камнями, в минуту, когда страх и ярость оголили то, что обычно пряталось под кожей.

Один из нападавших, оказавшийся ближе всех к линии камней, вдруг вскрикнул и отшатнулся, хватаясь за руку: там, где он коснулся ближайшего камня, пытаясь обойти Марека сбоку, кожа его задымилась, будто камень раскалился изнутри.

— Назад от линии! — крикнул их предводитель своим. — Назад, я сказал!

Они отступили — не разом, не в панике, а тем же выверенным, неприятным порядком, каким наступали, — и на мгновение между двумя сторонами повисла странная, звенящая пауза, в которой слышен был только гул, идущий из-под земли, всё громче, всё отчётливей, как будто сама граница, разбуженная слишком резко, слишком грубо, сейчас решала, что делать дальше.

И тогда из арки в дальнем конце поляны шагнул человек.

Арен не увидел, как он появился, — просто в какой-то миг арка была пуста, а в следующий под ней уже стоял высокий сухой старик в плаще цвета палой листвы, с посохом, который на вид был древнее самих камней. Он не спешил. Он шёл вдоль линии камней медленно, и там, где ступала его нога, трава пригибалась, а свет линий на камнях на мгновение вспыхивал ярче и тут же гас, будто кланяясь.

— Довольно, — сказал он. Голос был негромким, но прозвучал так, что замерли все — и Наследующие, и сами беглецы.

Предводитель отряда развернулся к нему резко, с неприкрытой злостью.

— Это не твоё дело, хранитель. Это земли Дома.

— Это моя дорога, — ответил старик просто. — И на этой дороге я уже тридцать лет не видел, чтобы кто-то поднимал руку под аркой. Вы — первые.

— Мы не собираемся спорить о правилах, которые забыли вместе с теми, кто их придумал, — крикнул предводитель, и Арен увидел, как по его знаку остальные снова начали стягивать кольцо — медленнее, но неотвратно.

Старик вздохнул, устало, почти по-человечески, и опёрся на посох обеими руками.

— Тогда мне жаль, — сказал он. — Но вы выбрали не то место для спора.

Он ударил посохом в землю.

Арен не успел понять, что произошло: гул, копившийся под поляной весь последний час, вырвался наружу разом, не светом, не огнём, а чем-то вроде беззвучного удара, прошедшего сквозь землю и сквозь кости. Нападавших отбросило — не всех одинаково, но каждого достаточно, чтобы сбить с ног, вышибить оружие, опрокинуть наземь между вставшими дыбом кочьями дёрна. Марек пошатнулся и упал на одно колено, Лиара устояла, вцепившись в ближай-

ший камень, а Арен, стоявший ближе всех к арке, вообще не почувствовал удара — только тепло, прошедшее сквозь него, как проходит сквозь открытую дверь сквозняк.

Когда он снова смог видеть ясно, Наследующие были уже на ногах — шатаясь, отступая, волоча раненых, — и их предводитель, стоя на самом краю поляны, смотрел не на старика, а на Арена, долгим, запоминающим взглядом.

— Это ещё не конец, — сказал он.

— Конечно нет, — спокойно согласился старик. — Но сегодня — не ваш день.

Они ушли — не бегом, но быстро, тем особым шагом, что сохраняет достоинство и при этом уносит ноги. Поляна опустела. Гул под землёй постепенно стихал, и линии на камнях медленно, одна за другой, гасли, возвращаясь к обычному сонному мерцанию.

Марек поднялся, морщась, зажимая бок, и посмотрел на старика так, как смотрят на призрак, которого не ждали встретить живым.

— Ветран, — сказал он.

Старик наконец повернулся к ним лицом, и Арен увидел глаза — светлые, почти бесцветные, слишком внимательные для человека, слишком усталые для кого-то, кто не был человеком вовсе.

— Марек Вейр, — сказал он. — Тридцать лет. А мальчик у тебя, я вижу, успел подрасти с тех пор, как ты нёс его на руках через эту самую поляну.

Арен замер.

— Вы знали меня? — спросил он. — Тогда?

— Я держу эту дорогу дольше, чем стоят некоторые из этих камней, — сказал Ветран, и в голосе его прозвучала смесь иронии и бесконечной усталости. — Я знаю всех, кто через неё проходил.

Несколько долгих мгновений никто не двигался. Потом Лиара опустилась на колено рядом с Ареном и быстро, профессионально ощупала его руку там, где скользнула стрела.

— Царапина, — сказала она. — Повезло. На полпальца левее — и говорили бы сейчас совсем о другом.

— Спасибо, что напомнила, — выдавил Арен, морщась, пока она туго перетягивала рану полоской ткани, оторванной от собственного рукава.

Марек, баюкая ушибленный при падении бок, медленно поднялся и обвёл взглядом поляну — вывороченный дёрн, брошенное второпях оружие одного из Наследующих, тёмное пятно крови там, где он сам ранил нападавшего.

— Это не случайность, — сказал он, глядя на Ветрана. — Они знали, что мы придём именно сюда и именно сегодня.

— Знали, — согласился старик, не оборачиваясь. — Я предупреждал тех, кто присылает такие записки, что предупреждения действуют в обе стороны. Если кто-то может сказать вам, где опасно, значит, кто-то может сказать и опасности, где искать вас.

— «В.», — тихо сказал Арен. — Это были вы?

Ветран чуть помедлил с ответом, и в этой паузе было больше, чем в любом прямом «да» или «нет».

— Об этом — позже, — сказал он наконец. — Сейчас у вас есть более срочный вопрос, чем подпись под старой запиской.

Марек коротко кивнул, пряча нож, и Арен понял: отец не станет настаивать, по крайней мере не здесь, не на поляне, ещё дрожащей от пережитого удара. Лиара закончила перевязку, помогла Арену подняться, и втроём, не сговариваясь, они пошли следом за стариком — к проёму, за которым, в отличие от всех прочих арок, встреченных ими на этом пути, не было видно ровным счётом ничего, кроме плотной, живой темноты.

Темнота за аркой не была пустотой. Арен понял это сразу, ещё на пороге: пустота не давит, а эта давила — мягко, ровно, как давит вода на уши ныряльщика. Стержень на груди

стал тяжелым, как гиря, и одновременно тёплым — тепло это поднималось от него по ключице, по шее, и Арен вдруг понял, что не боится. Не потому что было не страшно. А потому что темнота не была чужой — она была *знакомой*, как комната, в которой не был двадцать лет, но мебель в которой стоит на своих местах.

— Заходите, — сказал Ветран, не оборачиваясь. — Пока дорога держит дверь открытой. И не отставайте. В темноте между порогами считают шаги, и тем, кто сбился, приходится начинать счёт заново.

Марек вошёл первый — Арен видел, как отец напрягся, входя, как рука его легла на место, где обычно лежал нож, — и только потом последовал за стариком. Лиара задержалась на пороге на один удар сердца, оглядела поляну: вывороченный дёрн, гаснущие линии на камнях, чужой меч, брошенный в траву, — потом достала его, быстро оберла о траву и сунула за пояс.

— Плата за ночлег, — тихо сказала она, заметив взгляд Арена. — Они оставили нам лекарство. Только не знают об этом.

Темнота приняла их, как принимает вода: без звука, без краёв. Арен шёл вслепую, но ноги его не искали опоры — земля шла навстречу, ровная, утоптанная, будто по ней ходили каждый день тысячу лет. Гул, что целый день тянулся под его рёбрами, здесь перестал быть гулом: он лёг внутрь, стал тихим, размеренным присутствием, похожим на большой дом, в котором кто-то есть. Не угрожает. Есть. Идёт по своим делам в соседних комнатах.

А потом темнота кончилась — не растаяла, а *кончилась*, как кончается стена, которой коснулся лоб, — и они вышли в свет.

Свет был неправильным словом. Они стояли в ущелье, узком, как раскол в камне, а над головой, вместо неба, висело тёмное, звёздное небо — хотя снаружи был только вечер; и звёзды здесь стояли на местах, где звёзды не стоят; и всё это пространство, шагов тридцать в длину, не больше, заливал ровный, серебристый свет, у которого не было источника. В середине ущелья бил ключом — не фонтаном, а именно ключом, тонкой струёй вверх, — и струя эта, поднимаясь, исчезала в темноте под звёздами, будто вся вода уходила туда, вверх, к ним. У стены стоял дом. Не хижина — дом: низкий, длинный, сложенный из тех же тёмных камней, что и арка, с крышей, на которой росла трава.

— Здесь никого не бывает, — сказал Ветран, снимая плащ и вешая его на крюк у двери с такой будничностью, будто вешал его так каждый вечер триста лет. — Кроме тех, кого дорога приводит. Располагайтесь. Есть вода, есть что поесть, есть чем перевязать. Что есть у вас — тоже есть. — Он посмотрел на Арена впервые с поляны — долгим взглядом тех светлых глаз. — Садись к очагу, мальчик. Пока ты стоишь, кровь из руки идёт по шву. Кровь Вейров не любит ждать.

Очаг был настоящий — каменный, с дымом, уходящим куда-то в трещину стены, — и это простое, человеческое сооружение успокоило Арена больше всего остального: за дверью жил не призрак и не страж, а человек, который топит печь и вешает плащ на крюк. На полатах — сушёные травы. На полке у стены — ряд предметов, и Арен, пока Ветран разводил огонь, не мог отвести от них глаз: детская деревянная лошадка, стоптанная с одного бока. Пара женских башмаков, старых, но ухоженных. Оплётка из проволоки с камнем внутри. Письмо, запечатанное сургучом, лежавшее так долго, что сургуч потемнел. Кружка. Обломок гребня. Вещи, которым здесь нечего делать, кроме как ждать.

— Плата за ночлег на старой дороге, — сказал Ветран, не поднимая головы от огня, — рассказ. Кто ты, откуда идёшь, куда. Дорога собирает истории так же, как собирает всё остальное. — Он повернулся к Мареку. — От тебя платы не возьму, Марек Вейр. Ты уже заплатил. Ты носил её через эту границу на руках и думал, что никто не видит. Видел камень. Для камня тридцать лет — что для тебя вечер с минувшего дня.

Марек молчал. Он сидел у очага прямо, как сидел всегда, но Арен, знавший отца всю жизнь, видел: сидел он как человек, у которого из-под ног убирают пол.

— Откуда они знали? — спросил Марек наконец. Не «кто они» — он и так знал. — Маршрут. День. Час. Они стояли в тени у арки, когда мы вышли. Так ждут только того, кто знает расписание поезда.

— У дороги много ушей, — сказал Ветран. Он подошёл к Арену, сел на корточки перед его раной, размотал сделанную Лиарой повязку — коротко, уверенно, как делают те, кто перевязывал тысячу чужих ран, — и замер, глядя на предплечье. Потом посмотрел на другое плечо, на место под рубашкой, где знала каждая собака на этом пути: Арен сам, не спрашивая, стянул ворот и показал. Тонкая тёмная полоса. Глухая, как воск, кожа вокруг.

Ветран долго смотрел на это место. Пальцы его не коснулись кожи — он держал ладонь над шрамом, как держат над огнём, проверяя тепло.

— Чёрное железо, — сказал он наконец тихо. — Глубоко вошло. И вышло само, за дни. — Это было не вопросом, и Арен не ответил. Старик опустил руку и начал смазывать предплечье мазью из глиняного горшочка — горькой, пахнущей хвоей и чем-то металлическим. — Запомни, мальчик. Такие метки, как на твоём плече, заживают у прочих месяцами, и шрам их белый и твёрдый, как кость. А у тебя она зажила за дни и оставила место, которое не чувствует. Всякий, кто умеет читать дорогу, узнает тебя по этому месту с одного взгляда. Ты носишь теперь не один такой знак. Ты носишь их по одному за каждую дверь, которую открыл. Я вижу два. Дорога видит все.

Арен хотел спросить — а что видит дорога ещё, — но Марек заговорил раньше, тоном, который не предполагал возражений:

— Ты не ответил. Откуда они знали?

Ветран смолчал, закончив с повязкой. Потом поднялся и достал с полки кружку, поставил её на стол, достал вторую, третью — ставил их так, как ставят фигуры на доске, и Арен вдруг понял: старик собирается говорить долго.

— Я оставил вам предупреждение у реки, — сказал Ветран. — Значит, было и второе ухо, которое услышало его раньше вас. Предупреждение действует в обе стороны — я говорил это ещё вчера. — Он посмотрел на Лиару. — Ты охотница. Ты знаешь: след, который ведёт к укрытию, ведёт и от него. Я выбрал предупредить. Дорога не даёт выбирать дважды.

— Мы не жалуемся, — сказала Лиара сухо. — Мы спрашиваем, кто.

— Те, кого ты называешь Наследующими, имеют слушающих на каждой дороге восточнее реки, — сказал Ветран. — Не столько, сколько у них было век назад. Достаточно. — Он сел напротив, перехватил руками кружку, и на мгновение в огне очага его лицо стало совсем старым — не морщинами, а глубиной. — Я не знаю, какой именно язык болтал вчера у реки. Но я знаю, что ваш маршрут узнали не сегодня. Его знали раньше, чем вы сами. Это единственное объяснение, почему они не догоняли вас три недели, а пришли и встали. Догонять — для тех, кто не знает, где добыча будет. Встать и ждать — для тех, кто знает.

— Кто мог знать? — спросил Арен. — Мы сами не знали. Мы шли. ..

Он не договорил. Потому что понял, ещё не договорив, — понял по тому, как стало тихо в комнате, как Марек перестал двигаться, как Ветран смотрел на него внимательно, без всякого удивления.

— Мы шли к узлу, — закончил он медленно. — С самого моста. С того самого клочка бумаги. Нам сказали: правый берег, потом вдоль воды. И мы пришли сюда — самым коротким путём из всего, что можно было выдумать.

— Ты думаешь, что вас вели, — сказал Ветран.

— Я думаю, что нас *провели*. Как проводят через болото по кочкам, которые знают наизусть.

Старик долго молчал. Потом кивнул — коротко, внутрь себя, как кивают людям, которые сказали правильную и при этом неприятную вещь.

— Тогда запомни второе, — сказал он. — Если тебя вели к узлу, значит, вчерашний бой был не за тобой. — Он сделал паузу, подбирая слова с той же осторожностью, с какой подбирают ступени в темноте. — Наследующие хотели знать одно: примет ли дорога тебя обратно. Тридцать лет назад она приняла тебя, младенца, — молча, крадучись, тогда дорога спала. Вчера ты вошёл в неё будучи взрослым, — и линия встала. Они это видели. Теперь они знают то, чего не знали: ключ не просто существует. Ключ *работает*.

— И что изменится? — спросила Лиара. Голос у неё был ровный, но рука лежала на колене ближе к мечу, как лежала вчера перед боем.

— Всё, — просто сказал Ветран. — До вчера они охотились на мальчика. Со вчера они будут ломать дорогу под ним. Это другое ремесло, и оно страшнее. — Он повернулся к очагу и перевернул в золе завёрнутый в мокрые листья кусок чего-то пахнущего рыбой. — Ешьте. Спите. Завтра дорога будет ждать ответа на вчерашнее, и лучше отвечать на него отдохнувшим.

Поздно ночью Арен проснулся от того, что стало тихо.

Не снаружи — внутри. Тот дом, который кто-то вёл в соседних комнатах, замолчал, и тишина эта разбудила его точнее любого звука. Он лежал на лавке у стены, под тяжёлым пледом, пахнущим высушенной на ветру травой, и слушал: дыхание Марека — в глубоком углу, ровное; Лиары — у двери, лёгкое, чуткое, сна для вида. И третье дыхание. Оно шло из-за двери, в сторону ключа.

Он выскользнул из-под пледа, босиком, в одной рубашке. Рана в предплечье тянула горячей ниткой, но терпимо. За дверью, у струи воды, на камне сидел Ветран — не спал, глядел вверх, на ложное небо.

— Дорога не спит, — сказал он, не оборачиваясь. — А ты не спишь, потому что она не спит. Садись.

Арен сел рядом. Вода шла вверх, и в этом движении, если смотреть долго, было что-то гипнотическое — как будто ущелье перевернуто, и это не ручей бьёт из недр, а тот, верхний мир, капает вниз.

— Я спрашивал про записку, — сказал Арен. — На мосту. Ты не ответил.

— Я ответил. «Позже». — Ветран всё смотрел вверх. — Позлее наступило.

— Это были вы? «В.»?

Старик помолчал. Потом улыбнулся — медленно, уголком рта, и в этой улыбке Арен с удивлением узнал что-то отцовское: та же скупость, та же привычка отдавать не больше, чем берут.

— Ты задаёшь этот вопрос так, будто ответ что-то изменит, — сказал Ветран.

— Изменит.

— Нет. — Старик наконец повернул к нему лицо, и ложные звёзды стояли в его глазах, не отражаясь. — Ответ ничего не изменит. Если я скажу «да», ты подумаешь, что мне можно доверять, и ошибёшься: я подписывал записки и тем, кому не следовало бы их читать. Если скажу «нет» — ты подумаешь, что у дороги есть ещё один доброжелатель, и ошибёшься сильнее: доброжелателей у старых дорог не бывает, бывают те, кому от твоей жизни что-то нужно. — Он вновь посмотрел вверх. — Спроси не кто. Спроси зачем. Это единственный вопрос, на который дорога отвечает честно.

— Зачем тогда предупреждение у реки?

— Чтобы вы пришли сюда живыми. — Ветран сказал это просто, как говорят о погоде. — Причина, как видишь, себя не оправдала. И всё-таки я бы оставил её ещё раз. Потому что дорога, которая молчит, когда должна говорить, перестаёт быть дорогой. — Он помолчал и добавил, тише: — А я не умею быть ничем другим.

Арен сидел, перебирая эти слова, как перебирают детали, подогнанные наполовину. Потом спросил то, что не собирался спрашивать, то, что пришло само:

— Ты помнишь её.

Старик не стал спрашивать, кого. Тишина в ущелье стала совсем глубокой — даже вода, казалось, прислушалась.

— Помню, — сказал Ветран. — Она шла последней из ваших троих. Отец нёс тебя и смотрел под ноги. А она шла последней и смотрела назад — каждые десять шагов, по наученному, без страха, как делают те, кого трудно напугать за спиной. — Он говорил ровно, но паузы между фразами росли, будто каждое следующее слово находилось дальше предыдущего. — На третьем камне она остановилась. Положила ладонь на камень — и камень её принял. Мне не пришлось выходить к вам из-за арки: она сама знала, где граница и кто её держит. И она сказала — не мне, камню, но я стоял ближе, чем был должен, и услышал: «Я верну всё, что взяла. Только не сейчас и не себе».

Арен не дышал. Где-то за его спиной, в темноте у дома, что-то тихо скрипнуло — и он знал, чьё это дыхание сбилось на полудохе: отец стоял за дверью. Стоял и слушал. Сколько он там стоял — Арен не знал.

— Что она взяла? — спросил он хрипло.

— Этого дорога мне не сказала, — ответил Ветран. — Или я не сумел спросить. — Он поднялся, опираясь на посох, и на прощание положил Арену на плечо тяжёлую руку — первый раз за вечер коснувшись его. — А теперь спи, мальчик. Завтра ночью дорога покажет вам кое-что, что показывает редко. К тому нужно быть выспавшимся. Кровь Вейров платит за смотрение, как за всё остальное, — а платить надумавшись, ты уже заплатил.

За день отдыха, который Ветран велел считать не отдыхом, а приготовлением, они сделали то, чего не делали с Эйрена: починили снаряжение, перебрали припасы, промыли раны заново. Марек молчал больше обычного — молчал по-своему, рабочим молчанием, — но Арен дважды ловил его взгляд, устремлённый не на дело, а в никуда, и оба раза отец тут же возвращался к работе, будто мысль его была неприкаянной птицей, которую нельзя оставить сидеть. Лиара сняла с полки в доме прялку — она стояла там для кого-то, кто давно не пряд, — и часами возилась с льном, который старик достал из сундука и молча протянул ей. «Руки должны помнить не только оружие», — сказал он и не объяснил, почему.

А ближе к ночи Ветран вывел их на поляну.

Снаружи, со стороны арки, трёх ушедших в неё людей давно не было; а на самой поляне всё было иначе, чем днём. Одиннадцать камней стояли в темноте, и каждый — тускло, как угли под золой — светился изнутри, но свет этот не был светом: он не освещал ничего вокруг, он просто *был*, внутри камня, вместо камня. Ветран провёл их вдоль линии, до поваленного седьмого, и остановился.

— Дорога помнит тех, кого проводила, — сказал он тихо. — Она показывает это не всем и не всегда. Сегодня покажет — я попросил. Просить у дороги можно не часто, и я не стал спрашивать для себя. — Он опустился на поваленный камень, как садятся на скамью у своего порога. — Подойди к седьмому. Положи ладонь. И слушай не ушами.

Арен подошёл. Камень под рукой был тёплый, как кожа, и гладкий, как кожа, — и в ту же секунду в груди что-то дало трещину, как лёд под первым шагом весны, и поляна исчезла.

Не исчезла — стала прозрачной. Трава, камни, тёмное небо поверх всего — а поверх их, как отражение в тёмной воде, шла другая поляна, летняя, в жёстком свете полудня, и по ней шли люди. Трое. Высокий молодой мужчина с тёмными волосами — и Арен узнал его не по лицу, которого не мог помнить младенцем, а по походке, по тому, как он держал плечи, как смотрел не вперёд, а по сторонам, — молодой Марек шёл первым, и в каждой руке у него было по ножу. За ним, шагах в пяти, — женщина в дорожном платье, закутанная в плащ, несмотря на лето, и на руках у неё — свёрток, маленький, живой, с крошечным кулачком, торчащим из одеяла. Элина. Она была молода. Она была молода так, как молоды бывают только в чужих воспоминаниях и на портретах, которые врут: сильная, целая, с теми же упрямыми глазами, и на каждом шагу она оборачивалась — раз, другой, — смотрела назад, на запад, откуда они шли.

А на третьем камне она остановилась.

Арен видел это так, будто стоял в трёх шагах, — видел, как она перехватила свёрток, как протянула свободную ладонь к камню. Камень вспыхнул под её рукой — тот же ровный, внутренний свет, тот же, — и держала она руку на нём долго, губы её шевельнулись, слов он не слышал, как не слышал тогда Ветран. .. и потом она отняла ладонь, посмотрела на свёрток в другой руке — долго, внимательно, как смотрят на что-то, что решили запомнить, — и пошла догонять молодого Марек. Отражение тронулось, потемнело по краям, растаяло, как растает дыхание на стекле.

Арен стоял с ладонью на камне и не мог убрать её. Плечо горело, во рту был металлический привкус, мир качнулся — он и не заметил, когда Марек оказался рядом и крепко, до боли в здоровом плече, взял его за руку, отрывая от камня.

— Хватит, — сказал отец глухо. Не Арену. Камню.

Мир вернулся. Ночь, угли-свет внутри камней, ложные звёзды. У Арена текла из носа кровь — тонкая горячая струйка, и Лиара уже стояла рядом с влажной тряпичей, и лицо у неё было таким, каким бывало только тогда, когда она считала минуты до того, что не может остановить. Арен вытер нос, посмотрел на кровь на пальцах и вдруг, неожиданно для себя, усмехнулся — слабо, криво.

— Плата за смотрение, — сказал он.

— Дорога берёт не жестоко, — тихо сказал Ветран из темноты. Он не подошёл ближе; стоял там, где стоял, давая им то, что люди дают другим над чужим горем: расстояние. — Скажу, что не сказал вчера. Седьмой камень мог показать больше. Она, может быть, и хранит больше. Я просил — она ответила: сегодня этого довольно. — Он помолчал. — Я не знаю, сколько у неё хранится того, что она считает «довольно». Возможно, всё. Возможно, дорога умеет беречь людей от правды так же, как и приводить к ней. Это я вам сказать не могу. Этого мне самому не показали.

Арен искал глазами отца. Марек стоял, повернувшись к камню спиной — так стоят перед тем, к чему нельзя повернуться и от которого нельзя отойти, — и лицо его в свете углей-света было таким, какого Арен у него никогда не видел: открытым, как рана.

— Ты знал, что она говорила с камнями? — спросил Арен тихо.

— Я знал, что она говорила с ними тогда, — ответил Марек, не оборачиваясь. — Я не знал, что она *прощалась* с ними. — Он сделал паузу, и голос его, когда он продолжил, принадлежал совсем другому человеку — тому молодому, у которого в каждой руке был нож. — Тридцать лет я думал, что мы сбежали. Сегодня я впервые вижу, как выглядит бегство, когда те, кто бежит, уже знают, к чему бегут.

Больше в ту ночь никто ничего не сказал. Арен лёг, закрыв глаза, и сразу провалился в сон без снов — глубокий, тёмный, как сама арка, — а перед самым провалом последним, что он услышал, был тихий голос за дверью: голос отца и голос Ветрана, два старых голоса, говоривших о чём-то неслышном, и одно слово из их разговора всё-таки долетело до него сквозь сон, одно-единственное, произнесённое отцом, — имя:

Элина.

Утро в ущелье не наступало — серебряный свет над головой просто чуть менял оттенок, как меняет его свеча перед тем, как догореть. Арен проснулся от запаха каши и от того, что стержень за пазухой бил тревогу — не тревогой, нет: он *пульсировал*, ровно и настойчиво, направленно — впервые не куда-то вниз, к земле, а именно туда, по дороге.

У очага Ветрана не было. Было посохом прочерчено на земле то, чего вчера не было: карта, начертанная одной линией, как пишут те, кто пишет дорогу, а не землю — линия от точки, которую он узнал сразу (поляна, арка), к востоку, потом развилка. На развилке старик положил камешек. И второй, у нижней ветви.

Они нашли его у арки — темноты между порогами уже не было, дверь стояла открытой во все стороны сразу. Ветран сидел на поваленном камне, глядя на восток, и рядом на камне лежала вещь: плоский камешек с высеченной на нём засечкой — круг, рассечённый линией, те же три точки.

— Дорога отсюда идёт двумя путями, — сказал он, не здороваясь. — Верхний — быстрый, через селения, через людей. Через неделю он выходит к реке, что течёт по каменному руслу, и к городу у той реки. Там есть кому вас ждать: Наследующие уже знают, что узел встал на твою сторону, и поставят людей на каждую дорогу, которая туда идёт. — Он повернул голову. — Нижний — тихий. Он идёт вдоль границы ещё десять дней, там, где людей нет и не было, а потом срезает на север и выходит к той же реке выше города. Длиннее на четыре дня. На тихой дороге есть один перекрёсток, который я не обойду стороной, если вы пойдёте по ней. Я приду туда сам. Не ради вас, — добавил он прежде, чем Арен успел открыть рот. — Ради дороги. Она попросила.

Марек долго смотрел на начерченную линию. Потом спросил то, чего не спрашивал вчера:

— Ветран. Если бы она жива — дорога бы её пропустила?

Старик не ответил сразу. Впервые за всё время, что Арен его знал — а было это уже почти двое суток, что в последнее время считалось большим сроком, — Ветран выглядел так, будто вопрос застал его без посоха.

— Дорога её пропустила и тогда, — сказал он наконец, тихо. — Всё остальное, Марек Вейр, — не моя часть правды.

Марек кивнул. Больше он не спрашивал.

Они простились без объятий — так прощаются те, кто привык, что дороги сводят снова, — и Ветран, стоя у арки, проводил их одним последним предупреждением, брошенным уже в спины, в голос:

— И ещё! То, что они узнали вчера, — они уже передали дальше. По старым дорогам вести бегут быстрее людей. Через десять дней вся восточная половина тех, кто носит кровь Вейров, будет знать: ключ работает и идёт на восток. — Пауза. Арен не обернулся, но почувствовал, как слова догнали его, как догоняет брошенный вслед камень. — Подумай до перекрёстка, мальчик, каким ты пойдёшь по нему. Дорога, которую ломают под твоими ногами, ломается не сразу. Но ломается.

Они вышли через арку — и, как в первый раз, темнота между порогами длилась ровно столько, сколько нужно, чтобы сосчитать до ста, — и оказались на поляне, в обычном, жёстком утреннем свете, среди одиннадцати камней, ничем не примечательных, если не знать. Линии на них спали. Трава стояла примятая вчерашним боем, в ней чернела брошенная чужая сталь.

У выхода с поляны Лиара остановилась так резко, что Арен чуть не налетел на неё.

Она стояла, глядя на землю у самого края тропы, и лицо у неё было то, каким бывало вчера, перед тем как она сказала: «Босиком. Никто из людей». Арен подошёл и посмотрел.

В пыли у камня — в той самой пыли, по которой три часа назад прошли они сами, выходя из арки, — стоял след. Один. Широкий, плоский, несомненный. Босая стопа, чуть вдавленная впереди, будто идущий замер, перенося вес, — замер и повернулся. След смотрел в сторону арки.

— Он стоял здесь, — сказала Лиара очень тихо. — Когда мы выходили. Он стоял и смотрел нам вслед. Или смотрел, как мы уходим *внутри*.

Арен поднял глаза на восток, туда, где начинался нижний путь — тропа, едва видимая, уходившая вдоль старой границы, в земли, где людей нет и не было. Стержень на груди пульсировал ровно, настойчиво, направленно — впервые не куда-то вниз, к земле, а именно туда, по дороге.

— Пошли, — сказал он. Голос у него дрогнул один раз и больше не дрогнул. — Через десять дней они будут знать, что я иду. Так пусть узнают из этих десяти дней, что я дошёл.

И они пошли — трое по тропе, на которой за тысячу лет не было столько живых следов, сколько оставили они за один этот день, — а позади них поляна с одиннадцатью камнями тихо светилась изнутри до самого полудня, как светится долго тёплый камень, на котором кто-то сидел.

Глава 4. Город у каменной реки

Два дня тихая дорога держала слово, которое дал ей Ветран: она была тихой до конца. Здесь не было ни селений, ни встречных крестьян, ни колёсного гула за спиной — только граница из камней, выглядывающая из травы всё реже, всё суше, будто дорога старела на глазах, и широкие, безлюдные холмы, заросшие ковылём, который качался от ветра, как вода. Арен шёл и чувствовал под ногами землю, как чувствуют её не ногами: ровный гул в груди шёл теперь впереди него, чуть левее, где-то под горизонтом, — и это было новое и неприятное ощущение, как если бы кто-то невидимый шёл впереди и держал его за конец длинной невидимой нити. Марек заметил, что сын идёт, чуть повернув голову, как слушают направление, — и дважды молча сверился с ним, указывая рукой: туда? Арен кивал. Отец не спрашивал, откуда он знает. За три недели они оба привыкли к тому, что в этой семье появились вопросы, на которые не нужно было отвечать вслух.

Ломка началась на третий день — и началась не с боя, не с крика, а с тишины.

Арен заметил её первым, потому что тишина эта была у него внутри. Гул, шедший впереди левее, — споткнулся. Вот как это было: шаг, шаг, шаг, — и на месте, где должен был быть очередной мягкий удар дальнего пульса, ничего не было. Пустота. Как ступень, которой ожидала нога. Он остановился так резко, что Лиара, шедшая позади, обошла его по дуге, положив руку на меч — по привычке, не глядя, тело сработало раньше вопроса.

— Там, — сказал Арен, показывая на холм. — Что-то не так.

Не так оказалось за холмом, в низине, где старая дорога пересекала сухой ручей. Камень границы — один из последних, здешних, угловатых, — лежал. Не поваленный ветром, как седьмой у арки: лежал распоротый. В расщепе его, рыжем и свежем, чернели заломанные клинья, обломки клиньев, — работали железом и кувалдой, и неделю назад, может, две. Камень был разбит на две половины, как разбивают орех, и Арен, подойдя ближе, почувствовал то, чего не чувствовал ни у одного камня на всём этом пути: ничего. Ни тепла, ни натяжения, ни того тихого присутствия, что было у всех остальных. Перед ним лежала не граница. Лежал труп.

— Они ломают дорогу, — сказал он тихо. Горло пересохло. — Вот что он имел в виду. «Ломать дорогу под твоими ногами». Они начали.

Лиара обошла камень, присела, подняла обломок клина, понюхала, откинула.

— Работали не горняки, — сказала она. — Клинья ставил человек, который не привык ставить клинья. Заложен криво, удары не в одну точку. — Она подняла глаза. — Но переломали. Переломали, потому что камень *позволил*. Смотри: нет ни осыпи от кувалд, ни выкрашенных чурок. Они ломали его два дня, а может, три. Обычный камень такого размера ломается за утро.

Марек стоял над расщепом молча, и лицо его было того серого цвета, какое бывает у людей, увидевших не врага, а погоду.

— За нами не гонятся, — сказал он наконец. — Понимаете? Гнаться — это за нами. А это — вперёд. Они не жгут мосты за нашими спинами. Они жгут их у нас на глазах, чтобы мы видели.

— Зачем? — спросил Арен, хотя уже, кажется, знал.

— Чтобы мы свернули с тихой дороги. — Марек повернулся к северу, туда, где за хребтом, дымного и далёкого, лежал человеческий край. — Тихая дорога им неподконтрольна. В ней есть камни, есть хранитель, есть то, чего они не умеют предсказать. А большая дорога — их. Там люди, постоянные дворы, заставы, списки. Там каждый видит каждого. — Он помолчал. — Они ломают камень за камнем, и каждый сломанный камень кричит нам: «Сверните, сверните на нашу дорогу». Это не охота. Это загон.

Лиара вытерла ладонь о траву и встала.

— Тогда есть два выхода, — сказала она. — Идти дальше по тихой дороге в гордом одиночестве и надеяться, что хранитель успеет на перекрёсток раньше их. Или сделать то, чего они не ждут. — Она посмотрела на дым за хребтом. — Они гонят нас в город. Значит, в городе нам нельзя появляться такими, какие мы есть. Но появиться такими, какие мы *не есть*, — можно.

— Нам нужна еда, — сказал Марек просто. — И нам нужно знать, что впереди. Ломают ли дорогу дальше — или только здесь. Есть ли у этого города староста, летописец, кто-то, кто помнит старые времена. — Он глянул на Арена. — И ещё: десять дней, Ветран говорил. Через десять дней все узнают, что ключ идёт на восток. Десять дней мы проведём лучше среди людей, чем на пустой дороге, где каждый всадник — это вся кавалерия мира.

Арен кивнул. Он смотрел на расщеплённый камень и чувствовал, как внутри, на месте, где жил гул, расплзается холодная, странная пустота — пустота не страха, а долга. Кто-то ломал старое не ради него. Ради того, что через него должно было пройти. И впервые за всё путешествие ему стало ясно: он не едет по этой дороге. Он — причина, по которой её ломают. Камни ломали не прошлым вечером и не сегодня утром. Камни ломали *ради встречи с ним*, и каждый сломанный камень был письмом, которое он обязан был прочитать.

Разъезд настиг их на четвёртый день, на северном срезе, к полудню, — и настиг хорошо.

Лиара слышала их первой: она замерла, присев у земли, и сказала одно слово — «семеро» — с таким тоном, каким говорят «пожар». Потом Арена увидел сам: на гребне за долиной мелькнули всадники, строем, неспешным, — и сразу же разъехались веером, как охотничьи псы, приняв след. Плоскокаблучная сбруя. Он уже знал её силуэт наизусть, как знают наизусть почерк долговой расписки.

— Вниз, к ручью, — распорядился Марек. — Там овраг. Там мост, я видел с гребня. Старый. Если нам повезёт — каменный.

Они бежали. За спиной глухо и ритмично нарастал топот — не галоп, нет; Наследующие не гнали лошадей, они *прижимали*, экономя коней, зная, что загнанные не уйдут далеко. Это было страшнее спешки: они не торопились, потому что были уверены. Овраг принял их тенисто и мокро, ручей внизу пенился между камней, и мост оказался на месте — узкий, деревянный настил на двух чёрных каменных устоях, таких древних, что трава на них не росла. Арена, выбегая на середину, почувствовал под ногами то, что чувствовал у каждого такого камня: натяжение. Тетива. Спящую, дремлющую, — но тетиву.

Марек развернулся на середине моста.

— Лиара — туда, — он ткнул пальцем в скалу за устьем. — Стреляй с фланга, по коням, не по людям. Арена — камни. Скатывай всё, что катится. — И, глядя сыну в глаза, добавил то, чего не говорил никогда прежде: — И если знаешь, как это сделать — разбуди мост. Всё остальное уже не важно.

Первые всадники показались над гребнем оврага, когда Лиара уже исчезла в камнях. Арена и Марек вдвоём сорвали с карниза сверху первый валун — он пошёл вниз, разгоняясь, сбивая кусты, и лошади внизу встали, заржали, пошли врозь. Стрела Лиары — одна, вторая — легла среди них, и одна лошадь упала, закатив глаза, сбросив всадника в ручей. Крик. Кольцо пошло в обход, к броду ниже, — и теперь Арена видел их лицом: семеро, тёмная одежда, короткие копья, лица спокойные, рабочие. Они уже не улыбались, как в Эйрене. Это были не провожатые. Это были люди с задачей.

Трое взяли брод. Двое остались с лошадьми. Двое пошли на скалу — за Лиарой.

— Отец, — сказал Арена. Его голос дрожал, но руки — нет. — Держи их у устоя. Три удара сердца.

Марек не спросил, что он задумал. Он просто пошёл — вниз, на край настила, туда, где устоя входил в воду, — и встал там с ножом, один против троих выходящих из брода, и

Арену на мгновение стало так ясно, что никогда прежде: отец сражается не ради победы. Отец сражается, чтобы купить ему три удара сердца.

Он упал на колени у чёрного камня, прижал ладонь — ту, здоровую, — и позвал.

Не голосом. Он уже начинал понимать, как это делается: не словом, а *намерением*, тем самым рывком внутри, которым рвут привычку. Гул проснулся мгновенно — мостовой, старый, злой от того, что его глубоко спящую выдёргивают за рукав, — и поток пошёл сквозь него, как вода сквозь жернова: из земли — в камень, из камня — в его ладонь, из ладони — обратно, и мир вокруг стал тонким, прозрачным, и он *видел* мост: настил, устои, крепления, сгнившие за лето, скрытые под мхом, — видел, как механизм веками держит себя сам, и где у него зуб, и где у него слабое звено.

— Сейчас, — выдохнул он, и не знал, сказал ли это вслух.

Первый удар пошёл через устой, с которым сцепились трое: камень под их ногами вздрогнул, как вздрагивает бок у спящего, которого толкнули, — и трое, по колено в воде, пошатнулись. Второй удар — Марек увидел, понял, и сам подбросил: ударил ножом по крепежу настила у берега, и доски ушли вниз, в воду, под ногами переднего. Тот упал — с копьём, кубарем, в пену.

Третьего удара не было. Третий — был рывок, срыв, и Арен понял, что рывок этот не его, а моста: двухвековой настил, которому три века терпелось лечь, наконец получил разрешение.

Мост сложился в воду, как складывают руки.

Он не рухнул — рушение громко. Он именно *сложился*: доски пошли вниз мягко, по связям, каменный устой заурчал водой в швах, и все, кто стоял на нём и рядом с ним — трое в броне, двое на берегу, — оказались по колено, по пояс в ручье, среди плавающих досок, у мокрых копий и мокрых бранных слов. Со скалы — ещё две стрелы Лиары, в землю, у самых ног взбирающихся. Сверху, с гребня, загарцевали двое оставшихся с лошадьми.

Арен отнял ладонь от камня — и мир качнулся и выплеснулся через его глаза и нос: тёмное пятно в глазах, горячая струйка на губе, металлический вкус, и новое, до того небывалое ощущение — будто глухая полоса на плече, то мёртвое пятно, проступила сквозь рубаху и легла на кожу *всем своим размером*, как ложится на стол печать. Он осел на мокрые доски, смотря, как по ту сторону сложенного моста в воде полощутся тёмные фигуры, как горн трубит где-то на гребне — коротко, вопросительно, — и как разведённые врозь всадники сходятся, считают, решают.

Марек вытащил его на берег под скалой за шиворот, как вытаскивают из воды мешок. Лиара спустилась камнями, мелко, неся лук наготове.

— Они не пойдут в брод снова, — сказала она быстро. — Лошадей потеряли двух. Они послали за подмогой — я видела гонца на гребне. У нас — полчаса, может, час. — Она посмотрела на Арена, на кровь под его носом, на пятно на плече, и лицо её сделалось тем, каким бывает у людей, которые умеют считать потери и не любят результата. — И ещё. Они знают теперь, что ты умеешь звать.

— Знают, — сказал Марек. Он сидел на корточках, переводя дух, и рука лежала на боку — на том самом, ушибленном у арки, — и Арен понял, что весь бой отец дрался с трещиной в рёбрах и ни разу не дал ей заметить этого. — И это хуже, чем если бы убили нас у моста. Потому что те, кто ломает дорогу, сегодня узнали: дорога отвечает. Теперь они пойдут не за мальчиком. Они пойдут за *мостами*. Они будут ломать всё, к чему он прикоснётся.

Он поднялся, морщась, и посмотрел на север, на дым над хребтом.

— Город, — сказал он. — Сегодня к вечеру. И пусть они ломают камни: у меня для них новость. Камни умеют ломаться. Мои сыновья — нет.

Арен не стал поправлять грамматику. Он смотрел, как по ту сторону сложенного моста в воде деловито вытаскивают коней, и чувствовал, как в груди, на месте гула, растёт нечто новое — тяжёлое, злое и совсем не похожее на страх. Похожее на ответ.

Город у каменной реки они увидели за два часа до заката, и увидели — по воде.

Сначала был звук: ровный, неумолчный, не похожий ни на один водяной звук, что слышал Арен, — не шум порога, не плеск мельничного колеса, а глубокое, размеренное *движение*, как будто под землёй работало нечто размером с город. Потом, с гребня, они увидели саму реку — и Лиара, шедшая впереди, остановилась так, что Арен налетел на неё.

Внизу, в широкой долине, к западу от городских стен, река текла — *по камню*.

Не в каменном русле — по *каменной трубе*. Ровная, прямая, как канал, шириной в пятнадцать саженей гладь чёрного камня тянулась от горизонта до горизонта, уходя сквозь долину и сквозь город, и по ней, в кромке бурого камня, бежала вода — быстрая, зеленоватая, и на всём её бегу ни одного порога, ни одной кочки, ни одного камня. Ни река не изменила русло. Русло изменило реку. По берегам этой водяной стрелы стояли мельницы — четыре, шесть, восемь, — и колёса их крутились на течении, сами, без ленивых запруд и мельничных плотов, потому что течение здесь не нуждалось в накоплении: оно было дано раз и навсегда.

— Русло, — сказал Марек. — Так его зовут. Я слышал имя, ещё когда. .. — он не договорил. — Город построен вокруг. Или город построили те, кто пришёл за этим.

Стены города были в два слоя: нижний — древний, чёрный, того же камня, что и канал, с башнями, стёртыми временем до круглых плеч; верхний — новый, дровяной, с бруствером и воротами, где уже к вечеру выстроилась очередь. Они встали в неё — трое усталых дорожных, с пылью на сапогах и кровью на повязке, спрятанной под рукавом. Лиара шла между Арена и Марек, с головой, чуть наклонённой, походкой человека, которому некуда торопиться; её лук лежал в котомке, меч — под плащом, и только Арен знал, как дорого ей стоила каждая из этих мер.

У ворот стоял глашатай — не страж, а человек в гражданском, читающий с листа тем особым, буднично-задраным голосом, каким читают всем известные вещи. Арен услышал обрывок и почувствовал, как ледяная вода проливается ему за шиворот:

«.. и того же, кто именует себя механиком, лет около двадцати пяти, темноволосого, с повреждением правой руки. Объявляется, что упомянутый задержан причастин к казни в Эйрене и к смерти людей Ордена. Доносившему — три серебряных. Укрывшему — то же. Укрывшего, знавшего и не доносившего. ...»

Лист был свежий. Чернила — суточной давности, не больше.

— Донесения летят быстрее нас, — беззвучно сказала Лиара. Она не смотрела на глашатай; она смотрела, как дежурный у ворот берёт с крестьянину котомку, заглядывает, возвращает. — Не лезь в глаза. Иди как идёшь. Ты сейчас усталый крестьянин, а не механик.

Они прошли. С тремя котомками, с кошелём, в котором осталось одиннадцать медяков и два серебряных, — прошли под аркой, мимо доски с листьями, мимо лиц, ни одно из которых не задержалось на них дольше, чем положено уставшим вечером. Внутри город дышал мукой, дымом и мельничным маслом. Улицы шли к каналу, как колодцы к воде.

Ночлег нашли в трактире «Старая мельница» — низком доме на берегу, где кровати стояли впритык, зато стены были толстые, а хозяйка — немолодая женщина с руками пекаря и глазами таможенника — взяла деньги, не задавая вопросов, что после Эйрена казалось роскошью, достойной памятника. Когда сумки упали на лавку, а дверь закрылась задвижкой, Арен на мгновение позволил себе сесть и просто сидеть, глядя, как в комнате, на тонком столе, Мари — так звали хозяйку — ставит миски с горячим.

— Люди Ордена были здесь? — спросил Марек, когда она повернулась к двери. Не «есть ли». Он спросил «были ли».

Мари оглянулась. Глаза таможенника сделали одно медленное движение — от Марека к Арену, к его правой руке, лежащей на столе, к тому, как он непроизвольно держал её чуть вывернутой, защитно.

— Были, — сказала она. — И есть. Двое сидит сейчас внизу, в общем зале, третий ходит по набережной уже третий день. Спросили у меня про странников. Я сказала: странники у меня каждый вечер. — Она помолчала. — И ещё за стенами стоят всадники. Не городские. Я им сказала бы то же, но они не спрашивают. Они просто стоят. Третий день.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.